

Ариадна Эфрон Б.Пастернаку ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

*Ариадна Эфрон
Б.Пастернаку*



А.Эфрон

Б.Пастернаку

ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

(1948—1957)

Включает 12 ответных писем Бориса Пастернака

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève

75005 Paris

Обложка работы Елены Фишер

ISBN 2 - 85065 - 012 - 9

© 1982 YMCA-PRESS



А. Эфрон в Туруханской ссылке

1 августа 1948

Дорогой Борис! Прости, что я такая свинья и ни разу еще тебе не написала: все ждала по-настоящему свободного времени, чтобы написать настоящее большое письмо. Но времени нет, и наверное никогда не будет. И чувства и мысли так и остаются, не столько несказанные, сколько нескáзанные. Живу я в Рязани уже скоро год, работаю в местном художественном училище — ставка 360 р. в месяц, а на руки, за всеми вычетами, приходится чуть больше 200 — представляешь себе такое удовольствие! Работать приходится очень, очень много. Все мечтала этим летом съездить в Елабугу, но конечно при таком заработке это совсем неосуществимо. Асеев писал мне, что мамину могилу разыскать невозможно. Не верю.

В училище, где я работаю, есть театрально-декоративное отделение, а Шекспира нет и достать невозможно. Ни у меня, ни у училища нет ни средств, ни возможностей, а без Шекспира нельзя. Молодежь (в большинстве из окрестных сел) никогда его не читала, и если не пришлешь ты, то наверное и не прочтет. Если не можешь подарить, то пришли на прочтение, мы вернем. Но я думаю, что ты подарешь. Очень прошу тебя.

Напиши мне о себе хоть немножко. Мне говорили, что ты женился. Правда? Если так, то это хорошо. Особенно на первых порах. Крепко тебя целую и люблю. Напиши.

Твоя Аля.

Помнишь, как ты приезжал к нам,¹ сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универсамам, ты ни во что не вникал и думал о своем, домашнем? Мой адрес: Рязань, ул. Ленина, 30, Рязанское художественное училище.

Еще раз целую. Очень хотелось бы увидеться.

14 августа 1948

Дорогой Борис! Бесконечно благодарю тебя за все, полученное мною. Стихи очень хороши. Когда я распечатала конверт и взялась за письмо, сидевшая рядом одна Марья Ивановна рязанская, счетоводница, схватила без спросу стихи. Я говорю: "Бросьте, Мария Ивановна. Это переводы. Вы все равно не поймете". Но она не бросила, все прочла и сказала: "Чего ж тут непонятного. Наоборот, все понятно. И все очень хорошо". Почему в первую очередь, вместо своего, написала тебе отзыв Марии Ивановны? Да потому, что это прекрасно — т. е. то, что прекрасное в них, в стихах, в теперешних твоих, доступно не только избранным. К большей, чем прежде, глубине содержания, прибавилась большая, чем прежде, простота формы. Вообще, действительно прекрасные стихи — чего не могу сказать о последних асеевских, что он прислал мне. И ему не смогла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось — больше не пишет мне.

Да, дорогой Борис, скоро 35 лет, как я — Ариадна (это имя обычно так коверкают, что я даже сама не смогла сразу написать его правильно!) М. б. если бы

я была Александрой, все было бы проще и глаже в жизни?

В общем, имя не из счастливых! Ну и Бог с ним. Вчера я получила все твое. Твои книги безумно — если бы ты их видел в эту минуту! — обрадовали ребят.² Они только жалели, что ты им ничего не написал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что "он сам прислал". Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы бóльший фурор.

А сегодня мне объявили приказ, по которому я должна сдать дела и уйти с работы. Мое место — если еще не на кладбище, то во всяком случае не в системе народного образования. Не можешь себе представить, как мне жаль. Хоть и очень бедновато жилось, но работа была по душе, и все меня любили, и очень хорошо было среди молодежи, и много я им давала. Правда. За эти годы я стала много понимать, и стала добрая, особенно к отчаянным. И работалось мне хорошо, и я много сделала. А теперь, когда я всех знаю по именам и по жизням, и когда каждый идет ко мне за помощью, за советом, затем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти. Куда — сама не знаю. Устроиться необычайно трудно — у меня нет никакой кормящей (в данной ситуации) специальности, и я совсем одна. Еще спасибо, что по сокращению штатов, а то совсем бы некуда податься! Вот ты говоришь — "не унывай". Я и не унываю, но, кажется, от этого и не легче. Ты понимаешь, я давно пошла бы на производство или в колхоз, сразу, но сил нет никаких, кроме аварийного фонда моральных. Пережитые годы были трудны физически, и последний был не из легких. Вот сейчас никак и не придумаю — что делать? Видимо, вот пока и все. Прости за нечленораздельность, я устала очень.

Еще раз бесконечно (разве можно так писать — "еще раз бесконечно"?) благодарю за все. Ты не любишь больше вспоминать, да? а я часто вспоминаю, как мы сидели в скверике против Жургаза,³ и как все было.

Крепко целую тебя, милый.

Твоя Аля.

26 августа 1948

Дорогой Борис! Спасибо за твою добрую открыточку и за добрые обещания — только я что-то не уверена в том, что ты многим богаче меня. Мне кажется, что ты тоже вроде меня нищий. Остается утешаться тем, что к хорошим людям богатство не причаливает. Как-то все мимо проходит — и хватать, и выпрашивать не умеем. Статью твою о Шекспире не читала и прочту, видимо, не так-то скоро — у меня ее сразу отобрали и она "пошла по рукам". Прозу пришли непременно, и пиши пока что по тому же адресу, как только он изменится, я сообщу тебе. Во всяком случае мне всегда тотчас же сообщат, даже если я к тому времени буду работать в другом месте, или вовсе не буду — не дай Бог, это хуже всего.

Недели на две я еще могу, кажется, рассчитывать на гостеприимство своих "хозяев" — им очень, очень не хочется отпускать меня — относятся ко мне очень хорошо и пока затягивают всю эту историю — но слишком долго затягивать, увы, не придется. А все-то дело в том, что за меня "заступиться некому", я ведь здесь так недавно. Все можно было бы уладить. Работать напоследок приходится очень много и очень

беспрерывно. Я ужасно устала и вообще, и в частности.

Асеев иногда пишет мне письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное — не знаю, как выразить — в общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда "посмотреть на меня". Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин. Но ты ему не говори! А чего — "не говори" — сама не знаю. Очень спать хочется.

Я сама не знаю, что и как со мной будет дальше. Ехать? Куда? мне не ездить хочется, а прибиться к месту, и чтобы никто не трогал. Я, конечно, могла бы в Вологду к Асе,⁴ но она — мучительна своим сходством с мамой, карикатурным каким-то, с своей болезненной разговорчивостью, и многим, многим другим. Не прими за эгоизм — но быть с ней — это ежечасный, ежеминутный подвиг, на который я сейчас, боюсь, не способна. Я ведь сама ужасно издергана, только это, слава Богу, внешне не проявляется. А Ася вся — нервами наружу, и это меня заставляет щетиниться, почему — не знаю. Боюсь, что я ужасно косноязычна, поймешь ли ты все, что мне не удастся выразить? А как жизнь быстро идет! Так недавно мама распечатывала твои "Поверх барьеров" и "Сестра моя жизнь", и Рильке умер так недавно, и тоже совсем недавно я, маленькая, расшифровывала маленькую Люверс, сама будучи похлеце этой самой маленькой Люверс, и Мур играл с белым медвежонком Мумсом, присланным твоим папой.

В маленьком, холодном рязанском музее есть работы твоего отца, и по радио передают Скрябина "... уйти от шагов моего божества",⁵ и с Люверс я встретила в Мордовии, в старом за- и растрепанном альманахе, за высоким забором, в лесах, где проживал Серафим Саровский... И в общем мы с тобой живы, и время от времени попадаем в круги, разбегающиеся от когда-то давно брошенного камня, встречаемся с чем-то и кем-то еще давно близким и опять ждущим на очередном повороте судьбы. Грани между "просто" и "давно" прошедшим стерлись, как стерся счет дням и годам. Меня маленькую тревожило чувство, что времени — нет: до полуночи — вечер, а с полуночи — утро, а где же ночь? А сейчас — до полудня — детство, а с полудня — старость. Где же жизнь? Ты что-ниб. поймешь в моем сонном лепете? Хотя бы то, что я тебя очень люблю и крепко целую?

Твоя Аля.

5 сентября 1948

Дорогой Борис! Прости за глупый каламбур, но — все твои переводы хороши, а последний — лучше всех. Не знаю, правильно ли я поступила, тут же, "тем же шагом", как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто. Правильно или нет, но это было какое-то непреодолимое душевное движение, и даже сильнее, чем движение. Потом, когда я его уже купила и надела, я стала себя убеждать, что так и нужно было сделать: пальто ведь нет, совсем

никакого, и подарить его мне может только чудо, а чудо — вот оно, и значит — все правильно. Потом представила себе, как такая куча денег расходуется по всяким там керосинам и селедкам, не то что "расходуется", а "разошлась бы", если бы я не купила пальто. А потом, с совершенно чистой совестью и легким сердцем, пошла отражаться во всех витринах. Спасибо тебе, Борис. Ты как-то совсем по-необычному тронул меня и обрадовал своим подарком, но все это — не те слова, и нет у меня на это слов. Однажды было так — осенним, беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб, и казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали — и стволы и струи, ни неба, ни земли: небо — вода, земля — вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом, — мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба, — ты ведь был в эвакуации и знаешь, что такое хлеб! разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул — молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав: "на, сестра!" — подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцами и в рот — сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного "спасибо", но и тогда мне сразу стало ясно, что в жизни есть, было и будет все, все — не только

дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами. Только тот был чужой и далекий, а ты — родной и близкий, но и ты, и он сделали — сотворили — для меня большее чудо, чем опять-таки можно выразить словами. — Да, вспомнишь это самое время военное, и это самое горе военное, и подумаешь — ведь в самом деле все это было, и в самом деле все это перенесли.

У меня пока нового — кроме пальто — нет ничего. Распоряжение остается в силе, что касается меня, то я пока работаю на прежнем месте, что и как будет дальше — не знаю.

Если отсюда придется, и возможно в недалеком будущем, — уйти, то думаю поехать к Асе, там, м. б., и даже наверное, Андрей поможет с работой и остановиться можно будет у них. Здесь же у меня никого и ничего, и все может оказаться невыносимо трудным.

Но и там, Борис, не слаще, в конце концов. Очень, очень трудно с Асей быть больше двух часов подряд. И кроме того, это — мама в кривом зеркале, это — почти мама и совсем не она, жутко, не по моим силам. Сил у меня совсем немного и корни мои с трудом достают до подземных источников, Борис. Да, ты Асе не говори о том, что послал мне, а то она меня пилить будет, что я не поехала в Елабугу. Но я-то знаю, что живая мама сама предпочла бы, чтобы я оделась, а мертвой мамы — нет.

Крепко тебя, дорогой, целую. Как бы тебя увидеть? Прозу свою пришли. Пиши мне пока на училище, если перемену адрес — сообщу.

Твоя Аля.

20 сентября 1948

Дорогой Борис! Сегодня, очень рано утром, я услышала, как журавли улетают. Я подошла к окну и увидела, как они летят в смутном, рассветном небе, и потом уже не могла уснуть — все думала. Почему написала тебе об этих журавлях — и сама не знаю. Развернула твое письмо — и они мне вспомнились. Наверное, есть какое-то скрытое, а может быть и явное, сходство между твоим почерком и полетом этих больших, сильных птиц, вечно разорванных между севером и югом, зимой и летом, птиц без средней полосы и золотой середины в жизни.

Как люблю я их крик в тумане сумерек или рассвета, и стройно-колеблющийся силуэт их эскадрильи, и того, последнего, мощными, на расстоянии бесшумными, взмахами крыльев догоняющего своих. . .

"Все дурное уже переделано", пишешь ты. Не знаю. Сомневаюсь. Во-первых, одной человеческой жизни, даже семижильной, явно мало для того, чтобы переделать "все" — (хорошее или дурное). Во-вторых — во-вторых, я настолько одичала, что необычайно трудно мне излагать свои мысли — они переродились в смутные ощущения, понятные лишь мне одной, моему единственному собеседнику. Они теснятся в голове, пока не пожирают друг друга, и тогда "голове становится легче дышать". Просто мне хотелось сказать тебе, что ты, первый из известных мне поэтов, сделавший тайное — явным, выразивший то невыразимое, до чего некоторые твои предшественники — скажем, Тютчев, Фет, добивались случайно. И эти их случайности являлись — на мой взгляд и мое чутье — лучшим в их

лирике. Но я — плохой судья в этих вопросах, т. к. слух мой настолько развит — а для объективного отношения к делу это — еще хуже глухоты! — что даже самого трудного тебя понимаю я с полслова. Не только теперь, а еще и тогда, когда была совсем девчонкой, т. е. когда это самое чутье прекрасно сосуществовало с любовью к кино, чтением иллюстрированных журналов и уютных романов Марлит, с тем, что давно и легко отпало, как отслужившая шкурка змеи.

Самое, самое лучшее, самое радостное, самое чистое в природе всегда, в любом возрасте и любых условиях, заставляло меня вспомнить тебя — творца стихотворных ливней, первые капли которых ртутинками катятся в пыли, гроз, трепещущей листвы, этих нежных, сияющих, женственных переходов от слез к улыбке и вспять. Чувство природы, чувство праздника и печали, вкуса и запаха, и, прости за опошленное звучание этих прекрасных слов, — женской души — все далось тебе в руки. Нет, ты ужасный хам по отношению к самому себе, если в самом деле считаешь, что "все дурное уже переделано". Боюсь, что лучшего, чем лучшее из выше-названного дурного, тебе уже не создать! Ну, конечно, был и у тебя, как у всякого настоящего поэта, всякий хлам, но без него нет творчества. А сколько его в ранних маминых стихах — пусть она не сердится на меня за эти слова!

Поэзия сегодняшнего дня — это, на мой взгляд, сплошное "хлеб наш насущный даждь нам днесь", и только один Маяковский владел ею вполне, — и она им. Но — не единым хлебом жив человек, даже в такие времена, когда хлеб — это все. Говорю это *en pleine connaissance de cause*. Велика и глубока сила поэта, и равна ей по величине и глубине только

память читателя, о которой обычно поэты не имеют понятия. Ты — тоже. Опять-таки говорю это en pleine connaissance de cause.

Ну, вот и все сегодня. Я тоже ужасно занята, но такими безнадежно нудными делами, что — да Бог с ними совсем, стоит ли о них говорить! И устала.

Целую тебя.

Аля.

10 окт. 1948

Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой тезки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной франц. вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоящей, непреодолимой потребности показать ее еще комуниб., я попрошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтампт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Если это тебе покажется в бытовом отношении неудобным, то в таком случае я попрошу тебя написать мне об этом, и вернешь рукопись по почте мне. Я все время жил в Переделкино. Мой младший сын однажды сказал, что звонила Ариадна Сергеевна. У нас есть знакомая Ариадна Борисовна, может быть, это была она и он спутал.

Целую тебя.

Твой Б.

Дорогой Борис! Вчера получила книгу, а сегодня открытку. Спасибо тебе. Я недавно была в Москве несколько дней, звонила тебе, мне сказали, что ты — на даче, т. ч. сын твой не спутал, это была именно я. Ужасно жалела, что не удалось повидать тебя, да и сейчас еще жалею. В Москву выехала по приглашению нескольких добрых людей из Союза писателей, которые захотели помочь мне уладить дела с работой, т. е. именно с той работой, с которой я вот уже скоро два месяца все ухожу. Обещал все уладить и со всеми переговорить Жаров, который вчера приехал в Рязань на празднование тридцатилетия комсомола, но повидать его и дозвониться ему нет никакой возможности — в гостинице "Звезда" (по температуре — звезда полярная!) ему не сидится, а до остальных мест пребывания — никак не доберешься. Вообще все эти тревобления, мелкие, но постоянные, плюс ко всему ранее пережитому, издергали меня окончательно, как может издергать ежечасно повторяемое "что день грядущий". . . из так называемой популярной арии. Очень тяжело и сумасшедше, когда день вчерашний все время насильственно перевешивает, берет перевес над завтрашним, а у меня все время так и получается, и не по моей воле.

Скажи, сколько времени можно читать книгу, мне и еще немногим нескольким? У меня есть мечта, по обстоятельствам моим не очень быстро выполняемая, — мне бы хотелось иллюстрировать ее, не совсем так, как обычно, по всем правилам, "оформляются" книги, т. е. обложка, форзац и т. д., а сделать несколько рисунков пером, попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мере-

щатся, уловить их, понимаешь? М. б., и даже наверное, это было бы не твое и не то — впрочем, почему "даже наверное"? Как раз может оказаться и твоим, и тем самым. Но это осуществимо только при условии, если я останусь здесь, ибо если, не дай Бог, придется в скором времени перебираться к Асе, то это будет долгий перерыв во всем на свете. Это будет просто ужасно, пишу я совершенно искренне, совершенно искренне сознавая собственное свинство.

Целую тебя.

Твоя Аля.

12. 11. 48

Дорогой Борис! Получила твою открыточку, прости, что так долго не отзывалась на книгу — бегло и между делом не хочу, а так, как хочу, — все со временем не выходило из-за безумных предпраздничных нагрузок, плюс к основной работе и серьезному наступлению "осенне-зимнего сезона" в плане сложного рязанского быта. Книга вернется ко мне в понедельник, и тогда, с ней в руках, все напишу тебе подробно. Я, конечно, прочла ее первая, дважды подряд. Очень хороша. Но хочется очень, чтобы были пополнены и развиты антракты между событиями, сами по себе несомненно насыщенные событиями еще не разразившимися, понимаешь? Обо всем напишу, как только вернется книга, а пока словечко наспех, чтобы сказать, что мы — и я, и книга — живы и скоро подадим голос. Там есть замечательные, замечательные места, по-твоему прон-

зительные. Но боюсь — не сумею так нарисовать, как нужно. Иллюстрация — перевод автора на нечеловеческий язык линий, пятен, света, тени, на какой-то глухонемой язык. Тебя особенно трудно, ты — из непереводаемых — нужен художник твоего масштаба, какой-то Златоуст от графики, черт возьми! Время нужно, хоть немного покоя нужно — это я уж не о Златоусте, а о скромной себе.

Жаров оказался по отношению ко мне необычайно отзывчивым, сделал все, что нужно, на работе меня восстановили, в январе прибавятся м.б. и уроки графики — рублей на двести в месяц, и то хлеб. Плюс к сознанию слишком быстро уходящего, на ненужное тратимого времени последнее время замучила меня непонятная и противная температура — ничего не болит и все время лихорадит.

Целую тебя крепко, скоро напишу тебе много и по-своему по существу.

Твоя Аля.

20 ноября 1948

Дорогой злой Борис! Позволь на этот раз не послушаться тебя, и не быть тебе другом, и не отсылать (пока еще) "его" во Фрунзе, и "делать себе из него муку" и "тратить на него свои вечера". Тем более, что ты только что, совсем недавно, разрешил мне все это. Это раз. Во-вторых, какая может быть непосредственная связь между моим отношением к тебе и моим же отношением к роману? Хоть он и твой, но, раз написан, он уже о н, сам по себе, и

сам за себя отвечает. Таким образом, может быть хорошее отношение к автору и плохое — к произведению, и плохое к автору и хорошее — к произведению, и может быть отношение дух захватывающее и к тому, и к другому, одним словом — все может быть. Таким образом, если я хочу многое написать тебе о написанном тобою, то это вовсе не для того, чтобы доказать свое отношение к тебе. Это во-вторых. А в-третьих — о какой закономерности недостатков говоришь ты, ты? Ты можешь говорить о закономерности недостатков, ну, скажем, своих детей — но не об этом ребенке, созданном совсем иным творческим методом!

Ты писал, как ты мог и как хотел, дай же мне почитать так, как я могу и как хочу, и дай мне написать м. б. не совсем так, как мне хочется, п. ч. я не всегда умею, но так, как смогу. И не пиши мне, Бога ради, таких, сверху чуть приглаженных, но на самом деле таких злых открыток.

Прости меня за медленность — что-то сделалось со временем и со мной. Время существует, но оно никогда не мое, оно меня гонит и гоняет по пустякам, и я совершенно загнана всякой конторской белибердой и домашними "делами" — топкой, от которой никому не жарко, готовкой, от которой никто не сыт, и т.д., и все надоело, ну и Бог с ним.

Крепко целую тебя, дорогой злой Борис!

Твоя Аля.

12 нояб. 1948 г.

Дорогая Аля! Если ты без особенного ущерба можешь расстаться с рукописью и если исполнение

моей просьбы не сопряжено для тебя с какими бы то ни было бытовыми неудобствами, отправь ее, пожалуйста, по почте тем же способом, каким она была доставлена к тебе, по такому адресу: гор. ФРУНЗЕ, Киргизской ССР, гл. почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Я буду тебе очень благодарен. И, если можно, не откладывай. Не уверен, в Рязани ли ты, но думаю, что в случае непредвиденного отъезда ты бы меня об этом известила.

Целую тебя.

Твой Б.

27. 11. 48

Дорогой Борис! Только сегодня получила твою открытку от 12. 11., где ты просишь немедленно выслать книгу: открытка твоя оказалась доплатной, и поэтому долго пролежала на почтамте, пока прислали мне повестку. Книгу я смогу выслать 1-го — 2-го декабря — прости за задержку, но пока не получу зарплату — никак не выходит. Мне очень жалко ее отправлять, хотелось подержать еще и порисовать, но на все это нужно время, которого у тебя для меня нет. А у меня для себя и тем более.

Целую тебя.

Аля.

Дорогой Борис! Вот я и завладела, наконец, той горсточкой времени, которая была так необходима, чтобы поговорить с тобой. Прости заранее за всю последующую хаотичность — я уже писала тебе о том, что после такого долгого периода немоты стала совсем косноязычной, непреодолимо трудно выражать человеческим языком свои — человеческие же — чувства и мысли. Слишком много границ, запретов и рогаток понагорожено во мне, чтобы я смогла передать то, что до слов так ясно и стройно складывается в голове. Для этого, видимо, нужно время, которого нет, или чудо, которого тоже нет.

Впрочем, утешаюсь тем, что косноязычие по сравнению с полной немотой — все же шаг вперед.

Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой "кубатуры", необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда "оно" пишется само!). Это — умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, как тот Людовик с тем епископом.

Почему так? Желание сказать главное о главном ("Живое о живом", как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном — просто? Но вот эта-то "простота" и усложняет все настолько, что приходится проделывать весь твой путь, à rebours, восстанавливая отброшенное тобой.

Получается концентрат — судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель — т. е. в данном случае говорю только от своего имени! вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что ты "упростил". Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел, все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам, и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют détente, они не говорят глупостей и не шутят — как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления постепенности их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям.

Патуле, "веселому и общительному", ты ни разу, с тех пор, что он передразнивал кого-то на манифестации, не дал пошутить. А ведь именно эта его жизне-радостность, витаминность, способность рассмешить и рассеять должны были привлечь тяжело раненную, надорванную Лару — больше, чем его влюбленная перед ней растерянность. А в Юрятине Патуля просто превращается в Юру, чуть ли не ни с того, ни с сего — ему не хватает только стихов. "Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив", — говоришь ты о нем на стр. 135, и приходится верить тебе на слово. Если бы ты не сделал этой оговорки, о Патулиной насмешливости никто и не догадался бы.

А ведь эти качества — насмешливость, наблюдательность, юмор — необычайно влияют на взаимоотношения людей, создают друзей и врагов, утешают и злят, именно этого нельзя было обходить в книге, выкидывать из нее.

О Ларе: в нее не то что веришь, как в писательскую удачу, не то что она правдоподобна, она есть, вот сейчас есть, вот сейчас живет. И поэтому когда я пишу тебе о ней, то не как о героине, а как о живом человеке, чья судьба зависит только от тебя одного. Дай же ей все 365 дней в году, а не только дни больших событий и переживаний! Дай ей самой дойти до выстрела в Комаровского, а не заменяй ее несколькими страничками нарочито сухой скороговорки: "... жизнь опротивела Ларе". "... Она стала сходить с ума". "... Ее тянуло бросить все знакомое". "... с намерением стрелять в В. И., если он ей откажет, превратно поймет, или как-ниб. унизит". Ведь не столько, пожалуй, важно действие, сколько то, что к нему подготавливает, делает его неизбежным. В данном же случае неизбежности выстрела нет, и не потому, что без него можно было бы обойтись (— нельзя, Лара не может иначе!), а оттого, что в самом ответственном, в нарастании события ты заменил Лару, рассказал за нее своими (да и вовсе на этот раз не своими) словами, отчитался несколькими фразами за несколько мучительнейших, ответственнейших лет, за весь инкубационный период, пока она вынашивала в себе этот не только не грянувший, но еще не дошедший до ее сознания и уже неизбежный выстрел.

Теперь — вот этот выстрел — освободил ли он Лару от Комаровского, убила ли она им Комаровского в себе?

Если да, то Комаровский не должен, не может появиться на Лариной свадьбе. Это — худшее, невоз-

можнейшее из его, законом не наказуемых, — преступлений, и по отношению к Ларе, и по отношению к Паше, и по отношению к хору гостей, это — дикая бестактность. Да и по отношению к нему самому. Этот тип подлеца-джентльмена может позволить себе грубость — но не бестактность. И нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах он не может, по собственному желанию и почину, выступить в роли побежденного, чуть ли не в комической роли. Его "молодые друзья" могут быть для него всем чем угодно, только не друзьями. Паша простить не мог, Лара — Лара могла вычеркнуть из жизни, но — но, если бы он появился еще раз, Бог знает, какой зверек зашевелился бы в ее сердце, не мог бы не зашевелиться. И она все что угодно, но только не "громко и невнимательно отозвалась", "... совершенно забыв, с кем и о чем она говорит..."

Потом, знаешь что, мне бы ужасно хотелось узнать, как Лариса у в и д е л а Комаровского тогда, там, на елке. "... Останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее..." Это ведь все уже п о с л е того, как она увидела, узнала его, такого знакомого и чужого в толпе гостей. После многих лет. И уже после этого взгляда и узнавания его она останавливалась и мялась на пороге. Это может быть и мелочь, но она-то мне очень нужна!

Скажи, как могло получиться, что эта, так глубоко и сильно чувствующая, женщина могла не почувствовать юртинского Павла? Сам факт его решения мог оказаться для нее неожиданностью, но не коренная в нем перемена, вызвавшая это решение. Ведь не было же ее отношение к нему настолько поверхностным, чтобы она могла настолько все пропустить, прозевать? И если о н так все чувствовал, то как же

она, женщина, да еще такая женщина, да еще виновница всего, не почувствовала, что он чувствует? Опять эта теснота, эта инопланетность, не дающая развиваться инкубационному периоду, приводящая нас непосредственно к следующему поступку, следующей вспышке, следующему перелому жизни и судеб.

Все растущая разница между Павлом и Ларой, определяющаяся, в частности, в разности их отношений к окружающим и окружающему, даже твое замечание о том, что "даже Лара показала ему недостаточно знающей" (кстати, опять же — какой недостаток интуиции с ее стороны! Женщины вообще-то всегда "недостаточно знают" то, что интересует их мужей, но никогда не показывают вида!), все это должно было вызвать чуть ли не раздражение Павла, а на самом деле он любит ее еще больше прежнего, и уходит от нее любя. Для того чтобы и эта разница, и эта любовь, и все это смешение противоречий в их отношениях сделались понятными, неизбежными, опять-таки нужно растворить этот период в большем пространстве — на него не хватает многих и многих страниц книги.

Как относится Павел к дочке? Играет ли он с ней? Смотрит ли на нее спящую? Была ли в доме хоть одна детская болезнь, хоть одна бессонная ночь, хоть одна тревога из-за ребенка? Если нет, то к чему вообще ребенок? Только для того, чтобы он (она!) вдруг выросла (или умерла) во второй части книги?

И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в середине отношений, не отмершего и не умершего. В таких случаях расстояние и недосыгаемость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются,

”вначале не беспокоится”. Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмешь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая, как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днем ”развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах”, а ночи — не спать. И чувство ее к ребенку должно было сделаться более смятенным, а не то что ”пристроить дочь у Липочки”, и в дальнейшем — ”бедная сиротка” (кстати, не Лариного обихода эти слова. Так могла бы говорить мадам Гишар, но не ее дочь!)

Вообще с детьми, у тебя какая-то неувязка. Где же ребенок Юры и Тони? После замечательно переданных родов Тони (там, где ты так хорошо сравнил ее с баркой) — мальчик совершенно пропадает. И — никаких следов какого бы то ни было материнства и отцовства. Когда Юрий Андреевич встречается с Гордоном на фронте, то ни единым словом не вспоминает не только о сыне, но и о жене. Почему? И без слов тоже не вспоминает. Правда, прекрасно возникает в его памяти Тоня там, в госпитале, когда появляется Лара, но возникает таким далеким воспоминанием, как если бы между ними уже все было кончено раньше, давным-давно, хотя об этом ничего не было сказано, хотя это только может быть в дальнейшем. И последние придирки: куда ты запропастил Николая Николаевича Веденяпина, возведенного тобою в число значительнейших и потом как в воду канувшего, где мать и брат Лары, где чудесно набросанная и не менее чудесно заброшенная Оля Демина? Мать Лары и Родя

не могли не возникать время от времени в жизни Лары, пусть чуждые, пусть докучные, но — никуда не денешься, р о д н ы е! Ни свадьба Лары, ни рождение ребенка, ни отъезд в Юртин не могли обойтись без какого-то, хоть на расстоянии, участия Амалии Карловны. Еще более беспомощная и нелепая, постаревшая мать не может не вызывать во взрослой Ларе, Ларе-матери, чувства если не любви, то хоть дочерней жалости.

А Николай Николаевич, растивший Юру умно и любовно, умный и необычный человек, не могущий не влиять на окружающих — тем более на молодежь, вдруг совсем выпадает из жизни Юры и из своей собственной. Ты не заставил его поссориться, уехать, умереть — так где же он и что с ним? Олю же Демину мне особенно жаль, замечательная из нее вышла бы героиня, или хотя бы героиня-попутчица главных героев, ты же бросил ее в той церкви, вместе с Провом Афанасьевичем и его "блаженствами". Выберется ли она оттуда во второй части романа, и если да, то не поздно ли это будет?

Чувствуешь ли ты, бросивший всех этих людей, что винить в этом будут Лару, что все это делает ее гораздо более черствой, чем она может, должна быть, есть?

Да, и еще одно: очень хочется, чтобы как-то были отмечены годы ученичества, студенчества. Узнать, как сочетались страсти с экзаменами, отметками, клас-сами, внутренние бури с внешней дисциплиной. Упоминания о том, что Лара ходила в коричневом платье и была участницей невинных школьных проказ, и взрыва ветра при высадке Наполеона во Фрежюсе мало, мало, мало!

Прости меня за эти придирки, Борис дорогой. Они м. б. страшно мелочны, но дело в том, что я

настолько поклоняюсь твоему всемогущему богу деталей, так люблю в тебе, в творчестве твоём это сочетание подробного письма и широкого размаха, того твоего простора, в котором сплетаются, расплетаются и разрубаются узлы человеческих судеб, что просто злиться начинаю, когда ты начинаешь заниматься самоукрощением и самоуплотнением и делаешься вдруг не по-своему скупым.

О, какого простора требует эта книга, как она вопиет о нём, и как ты можешь и должен распространить все это, чтобы был воздух, а не кислородные подушки. Не говори мне о том, что мол знаешь, что делаешь, и делаешь то, что знаешь, поверь мне, что и я (без хвастовства и назойливости) тоже неплохо знаю, что ты делаешь и чего хочешь, и что должен делать и чего должен хотеть. Пусть это не прозвучит нахально, но, честное слово, это так! И я все это принимаю так близко к сердцу и так горячусь лишь потому, что с первых строк и до последних я любила эту книгу, и хочу, чтобы ей было лучше.

Она (за исключением "тесноты" главным образом между картинками и изредка внутри них) очень чиста, ясна и проста. В этом её огромная сила, её преимущество над многим, написанным тобой. Причем, говорю о ясности и простоте не только в смысле "понятности", а о той особой *limpidité*, которая вообще присуща твоему творчеству, и которая здесь достигает совершенства. Великолепен язык всех героев. При очень большой населенности книги — лишних людей в ней нет. Как хороша старуха Тиверзина со своими невестками у поезда, возле тела Юриного отца, и портниха Фаина Силантьевна, и Фуфлыгин, и его жена в коляске. Гимазетдин, Выволочнов, Шура Шлезингер, Тышкевич, Маркел с "Аскольдовой могилкой", Эмма Эрнестовна, Корнаковы, Руфина Анисимовна, оба Романовых, — да вообще все.

Всегда — и на этот раз — почти пугает твое мастерство в определении неопределимого — вкуса, цвета, запаха, вызываемых ими ощущений, настроений, воспоминаний, и это в то время, как мы бы дали голову на отсечение в том, что слов для этого нет, еще не найдены или уже утрачены.

Тонин мандариновый платок, ночь в городе, предшествовавшая той елке, да и самая елка, Лара на даче — ее свидание с лесом и землею, Ларино выздоровление — квартира Руфины, молитва и обморок Юры, вьюга после похорон, стреноженная лошадь на рассвете, битая посуда в номерах, запах конопли в прифронтовой полосе — и тут же не могу не разозлиться, вспомнив, найдя и переписав это противное изложение: "она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала". Ну к чему тебе так писать? Да еще о Ларисе!

Борис, замечателен тот пятичасовой скорый, тот "чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием", надвигающийся вскоре на нас крупным планом, со всем своим грузом жизней и судеб, из которых одна обрывается на наших глазах, и мы идем, вслед за Тиверзиными, посмотреть на самоубийцу.

Как послушны тебе, как никогда не нарочиты все совпадения и переклички, в которых ты силен, как сама жизнь. Ужасно люблю тебя хотя бы за . . . "свой рост и положение в постели Лара ощущала. . . выступом левого плеча". . . и ее сном, где "не велят Маше за реченьку ходить", когда те же самые "рост и положение" в одном случае являют собой ощущение физического и морального здоровья и равновесия, а в другом — смерть, тлен, плен и не велят Маше за реченьку ходить!

(Да, должна извиниться за Николая Николаевича. Ты ведь отправил его в Лозанну, что явно противоречит моему утверждению, что "ты не заставил его уехать". Но тем не менее эта Лозанна по моему глубокому убеждению является авторской отпиской, а не развитием этой судьбы, которая совсем не заслуживает таких больших, на долгие годы, перерывов в ее описании).

Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами.

Еще маленькой я думала: куда же уходит прошлое? Как же это — было и нет, и не будет больше, а было, было ведь, была же другая такая девочка, как я, которая сидела на этой же земле и вопрошала это же небо: а где же то, что было? где та, другая девочка, которая так же была и так же искала вчерашнего дня? И так до сотворения мира.

Те же самые земля и небо связывают нас с ними, и свяжут нас с будущим, когда мы станем прошлым.

Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты — не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом.

Ты стал сильнее и строже, яснее и мудрее.

Спасибо тебе.

Не сердись на мои придирки, пойми мое желание большего простора, большей воли для тех, кого я узнала, кого я вспомнила и полюбила благодаря тебе.

Книгу вышлю завтра, несмотря на то, что очень бы хотелось, чтобы она была моей совсем, или хоть по-настоящему надолго.

Это, конечно, далеко не все, что хочу сказать тебе и еще скажу — но мое время истекло, и вообще я не совсем уверена, что тебе это интересно.

Целую тебя, родной.

Твоя Аля.

4. 12. 48

Дорогой Борис! Как все неудачно получилось — книгу я уже отправила 1-го вечером, а 4-го, сегодня, получила твое разрешение оставить ее у себя надолго. Я просто в отчаянии, до такой степени мне хотелось, чтобы она была у меня. Во-первых, я хочу ее иллюстрировать, во-вторых — некоторые места постоянно хочу перечитывать, п. ч. память и воображение переиначивают их. В-третьих — вещь эта настолько цепкая, сильная и к тому же замедленного действия, что все время хочется сличать это самое действие с подлинником, его производящим, понимаешь? Так на днях я приняла кодеин от кашля, причем не рассчитала дозы и через некоторое время, не сразу, мне показалось, что я умираю. Конечно, умереть от него вряд ли можно, но все же именно благодаря ему я почувствовала, как это будет когда-то. Немного в этом духе получилось у меня и с твоей книгой — когда я ее прочла впервые, меня просто обидел целый ряд мелочей, которые масштабом самой книги возводились на недолжную высоту, и действие которых (от кашля!) я приняла за одно из главных действий книги. А потом я почувствовала себя так, как почувствовал бы Джек, если бы совет Оли Деминой насчет

толченого стекла был бы ”проведен в жизнь”, это начало во мне шириться и расти главное — после того, как я рассчиталась с мелочами.

О многом бы хотелось рассказать тебе, но я настолько утомлена, совсем без сил, что — неожиданное следствие — кажется, скоро буду годна только на то, чтобы воду таскать.

Целую тебя.

Твоя Аля.

15. 12. 48

Борис, дорогой! Не ответила тебе на то твое письмо все из-за той же занятости и сумбура вообще, но рада была очень, что ты не рассердился на мелочный мой подход к твоей большой книге. Да и сердисься ли ты вообще когда-нибудь? Я — нет, только изредка бешусь, но не сержусь никогда, — впрочем, Бог с ним, я совсем не о том хотела тебе написать. В старой инвентарной книге училищной библиотеки я нашла запись: ”Л. Пастернак, альбом, 40 р.”, и никаких следов самого альбома в самой библиотеке, в библиотечных карточках. Все же по наитию разыскала и того человека, у которого уже второй год лежала книга, и книгу. Она, вероятно, есть у тебя, такая большая, в синем переплете, со множеством репродукций, издание 1932 г., текст Макса Осборна. Книга — с надписью: ”Дорогим Варе и Осипу с любовью, Леонид Пастернак, Б. 1934 г.” Как она попала сюда, кто такие Варя и Осип? Никто у нас не знает, да и ты вряд ли знаешь — а м. б. и помнишь Варю и

Осипа? Напиши, мне очень интересно. Часть наших книг по искусству были куплены нашим училищем в год окончания войны где-то в Рязанской области, остались они после смерти какого-то старого художника, фамилии которого никто у нас не знает. М. б. это и был тот самый Осип? И еще — нашла я среди разрозненных репродукций в нашей же библиотеке, в хламе, несколько архитектурных репродукций, причем некоторые из них были исправлены, видимо автором, тушью (дорисованы деревья, окна, решетки, кое-где заштриховано, перечеркнуто). Я задумалась над этой доработкой, представила себе сейчас же, как, много лет спустя, набрел он на эти свои старые работы, увидел их свежа, и несколькими зрелыми и свежими штрихами и линиями все перестроил и переиначил. Подпись — Ноаковский, я не знала такого, я вообще совсем не знаю архитекторов. Но эту фамилию я встретила на днях в книге Сидорова о Рерберге — "крупный архитектор-преподаватель". И вот какая-то установилась во мне связь между работами Ноаковского, книгой твоего отца, Варей и Осипом. Попала ли сюда книга Пастернака из библиотеки Ноаковского? Попали ли сюда репродукции Ноаковского из библиотеки Осипа? Кто из них жив, кто умер в Рязанской области в год окончания войны? Или вообще никакой связи нет, и все это — случайно?

Как хороши работы твоего отца, какие великолепные рисунки, за душу хватают. Проницательно и крылато, большое в этом сходство между вами, не сходство, а родство, большее, чем кровное. (Я раньше знала только его Толстого, и твой тот, скуластый, лохматый, одухотворенный, портрет, который очень люблю). Многое из этой синей книги — к твоей последней, и многое и многие.

Вообще же это мое послание — очередной бред сивой кобылы — пытаюсь писать на работе, в шуме и неразберихе, и синяя книга, как птица (одноименная!) тут же, передо мной.

Целую тебя.

Твоя Аля.

21. 1. 49

Дорогой Борис! Ты замолк, но это ничего. Я надеюсь быть на днях в Москве и видеть тебя — позвоню тебе. Это не письмо, а почти телеграмма, но сейчас экзамены, работаю почти круглые сутки, совсем извелась. Очень хочется увидеть тебя наконец.

Твоя Аля.

26 августа 1949

Дорогой Борис! Все — как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень вскоре после возвращения из Москвы, успев послать тебе коротенькое, наспех, письмецо. Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. Самым неприятным был перегон Куйбышев — Красноярск, мучила жара,

жажда, сердце томилось. Из Красноярска ехали паромом по Енисею, что-то долго и далеко, я никогда еще в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически четкой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таежных превращались в лесотундру, и с севера, как из пасти какого-то вездомного зверя, несло холодом. Несло, несет и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далеких краев. "Наступило резкое похолодание" — это мы. Закаты здесь неопишуемые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбежного и неумолимого, как Смерть, холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханске, километров 300—400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно единственное здание каменное, и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но все же это — районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улицам бродят коровы и собаки лайки, которых зимой запрягают в нарты. Т. е. только собак запрягают, а коровы так ходят. Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил покойный Остап Бендер, который добавлял, подумав: "и даже не Сан-Франциско". Туруханск — историческое место. Здесь отбывал ссылку Я. М. Свердлов, приезжал из близлежащего местечка к нему сам великий Сталин, сосланный в Туруханский край в 1915—17 гг. Старожилы хорошо их помнят. Домик Свердлова превращен в музей, но я никак не могу попасть внутрь, видимо, наши со сторожем часы отдыха совпадают. Работу предложили

найти в трехдневный срок — а ее здесь очень, очень трудно найти! И вот в течение трех дней я ходила и стучала во все двери подряд — насчет работы, насчет угла. В самый последний момент мне посчастливилось — я устроилась уборщицей в школе с окладом 180 р. в месяц. Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, т. к., не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом — побелкой, покраской парт и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю — работаю 12—14 ч. в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работающие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впиваются в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочется писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет.

Бытовые условия неважные — снимаю какой-то хуже, чем у Достоевского, угол у полоумной старухи. Все какие-то щели, а в них клопы. Дерет она за это удовольствие, т. е. за угол с отоплением, ровно всю мою зарплату. Причем даже спать не на чем, на всю избу один табурет и стол.

Я сейчас подумала о том, что у меня никогда в жизни (а мне уже скоро 36) не было своей комнаты, где можно было бы запереться и работать, никому не

мешая, и чтобы тебе никто. А за последние годы я вообще отвыкла от вида нормального человеческого жилья, настолько, что когда была у В. И. Инбер, то чувствовала себя просто ужасно подавленной видом кресел, шкафов, диванов, картин. А у тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками. Одним словом, я страшно одичала и оробела за эти годы. Меня долго, долго нужно было бы оглаживать, чтобы я привыкла к тому, что и мне все можно, и что все мое. Но судьба моя — не из оглаживающих, нет, нет, и я все не могу поверить в то, что я на всю жизнь падчерица, мне все мечтается, что вот — проснусь, и все хорошо.

Вернувшись с покоса, долго возилась с получением своего удостоверения и наконец смогла получить твой перевод. Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить — даже у тебя — просто ужасно, и ужасно сейчас тут сидеть в этой избе и плакать оттого, что, работая по-лошадиному, никак не можешь заработать себе ни на стойло, ни на пойло. Кому нужна, кому полезна, кому приятна такая моя работа? Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо, и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится — я все еще живу.

Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки, еще непременно куплю валенки, потом я за всю зиму заплатила за дрова, потом я немножечко купила из того, что на глаза попало съедобного, и это немножечко все сразу съела, как джек-лондоновский герой. Тебе, наверное, неинтересны все эти подробности?

Дорогой Борис, твои книги еще раз остались "дома", т. е. в Рязани. Я очень прошу тебя — создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда

нужно, чтобы у меня были твои книги, я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Очень прошу, пришли то свое, что есть, и стихи, и переводы Шекспира, и я очень бы хотела ту твою прозу, если можно. И "Ранние поезда". Еще, если можно, пришли писчей бумаги и каких-ниб. тетрадок, здесь совсем нельзя достать.

Я счастлива, что видела тебя. Я тебе напишу об этом как-нибудь потом. Как хорошо, что ты — есть, дорогой мой Борис! Мне ужасно хочется получить от тебя весточку, скорее. Расскажи о себе. Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо — как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю ее, и все мне делается хорошо.

Целую тебя, спасибо тебе.

Твоя Аля.

20 ноября 1949

Дорогой Борис! Твой изумительный Шекспир дошел до меня уже давно, а мне так не хотелось отвечать на него наспех и вкратце, я все ждала, что вот-вот будет настоящий свободный вечер, когда я смогу быть наедине с тобой — несмотря на расстояние, с ним (с Шекспиром, то есть!), несмотря на столетия, разделяющие нас, и, наконец, с самой собою, несмотря на все на свете. Ничего не получается. Такие вечера ждут меня, видно, только на том свете, а пока что приходится писать тебе так, как голодная собака кусок глотает — вполне судорожно.

Я, помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала ее письма. И в самом деле, жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждешь от нее — причем всегда даром. Вдруг, среди снегов, снегов, снегов, еще тысячу раз снегов, среди бронированных, как танки, рек, стеклянных от мороза деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда — два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, как сердце разрывается завеса, потрясенный внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища, как от встречи с твоим "Детством Люверс", там, где никаких Люверсов и никаких детств.

На какой-то промежуток времени — вне времени — жизнь становится сестрою, ну а потом все сначала. Снег, снег, и еще тысячу тысяч раз снег. Эта самая белизна иной раз порождает ощущение слепоты, т. е. абсолютно-белое, как и абсолютно-черное, кажется каким-то дефектом зрения. Север раздражает тем, что он такой альбинос, хочется красного, синего и зеленого так, как при пресной пище болезненно хочется кислого, соленого, острого. Раздражает еще чувство неподвижности, окостенелости всего, несмотря на непрерывный ветер, атлантическими рывками, помноженными на туруханские морозы, бьющий и толкающий тебя то в грудь, то в спину. Дышать очень трудно, сердце с трудом переносит всю эту кутерьму, стискиваешь зубы, чтобы оно не выскочило. Вообще — хлопот множество: пока отогреешь нос, замерзает

рука, пока греешь руку, смерзаются ресницы. Первый настоящий снег выпал 18 сентября, в день моего рождения. Потом и пошло, и пошло, и дошло пока что до 45°, и это, увы, далеко не предел всех туруханских возможностей.

Весна начнется в июне.

Работа у меня бестолковая и трудоемкая, по 14—16 часов в сутки, я ужасно устаю, совсем мало сплю и далеко не всегда успеваю есть. Живу в избенке, где во все щели дует, у хозяйки, бывшей кулачки, которая до сих пор не поймет, куда и почему девались ее 30 голов рогатого скота, пять швейных машин, не считая сельскохозяйственных, и семь самоваров. Она окружена родней и нуждой, и от этого у нас всегда людно, нудно и тесно. Одна бываю только тогда, когда иду с работы или на работу, да и то мороз оказывается таким спутником, при котором не очень-то ценишь свои 15—20 минут одиночества. Есть собака, рыжая лайка с еврейским именем "Роза", которое ей никак не к морде. Я, кажется, единственное существо, делающее какие-то попытки ее кормить и гладить. Спит Роза на улице, по утрам у нее вся морда в инее. При виде меня она выплясывает какую-то собачью сегедилью, потом мы с ней идем на работу, каждая на свою — (она возит воду и дрова). Так и живем.

В клубе, или "Районном доме культуры", где я работаю, часто бывает кино. Когда-то, девочкой, я очень любила его, сейчас же совсем не переносу. Все его условности — грим, декорации, освещение — угнетают. Никогда ничего не смотрю, некогда и не хочется. На днях, идя с работы, проходя через темный зал, увидела случайно на экране несколько кадров американской картины "Ромео и Джульетта". Джульетта с черными от помады губами, с волосами, взби-

тыми à la "маленькие женщины" Луизы Олкотт, в кафешантанном дезабилье ворковала на чистейшем американском диалекте с Ромео из аргентинцев — из аргентинских парикмахеров. За сводчатым окном что-то чирикало, какой-то соловьино-жавороночный гибрид. Экран гнулся под тяжестью двуспальной кровати, убранной с голливудским великолепием.

Задерживаться я, конечно, не стала, а придя домой, донельзя усталая и сонная, схватила твой перевод "Ромео и Джульетты". Страшная, страстная, предельно-простая и ужасно близкая к жизни вещь. Современно и архаично, как сама жизнь. Какой ты молодец, Борис! Спасибо тебе за Шекспира, за тебя самого. Спасибо тебе за все, мой родной. Ужасно я бессловесная, а когда словесная, то ужасно косноязычная, — надеюсь, что ты и так все понимаешь, что хотела бы, да не умею сказать.

Книг у меня совсем нет. Я бы очень хотела получить твои "Ранние поезда". Вообще все что возможно твоего. Если нетрудно. Если трудно — тоже.

Крепко тебя целую. Напиши мне.

Твоя Аля.

А как чудесно изданы книги!

20 дек. 1949

Дорогая бедная моя Аля! Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся, даже по привычке, по заученному, в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя.

Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елиз. Яковл.,⁶ и Зин. Митрофановна⁷ вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну пронизательность! Ну глубина! Ну остроумие — прелесть, прелесть!

О себе нечего рассказывать, все по-старому, пусть они тебе напишут, только милая печаль моя⁸ попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше.

Как только будет возможность, пошлю тебе что-ниб. из книжек, или еще что-ниб., если можно будет.

От души всего тебе лучшего.

Твой Б.

5. 1. 50

Дорогой Борис! Только что получила твое, первое здесь, письмо. Спасибо тебе. Я, кажется, не в первый раз пишу тебе о том, что почерк твой всегда, всю жизнь, напоминает мне птиц, взмахи могучих крыльев. Вот и сейчас, только взглянула на твой конверт и почудилось, что всем законам вопреки все журавли вернулись, и все лебеди. А как было печально, когда они улетали, все эти стаи, сложенные треугольником, как солдатские письма! Горизонт сторожили вытянутые в струнку ели, тяжело ворочал свои волны Енисей, воздух пронзали холодные струи. До жути величественная это вещь — север! Много пережила я северных зим, но ни одну так ежечасно, ежеминут-

но не чувствовала, как эту. Уж очень она тяжело, даже своей красотой, давит на душу. М. б. потому, что красота эта абсолютно лишена прелести. И, как к таковой, я к ней была бы равнодушна, если бы не чувствовала ее настолько сильнее себя.

Я не отчаиваюсь, Борис, я просто безумно устала, вся, с головы до пяток, снаружи и изнутри. Впрочем, м. б., это и называется отчаянием?

Твоя печаль очень меня огорчила, из-за тебя, главным образом. Мне хотелось бы сказать тебе, но эти снега так располагают к молчанию! Могу только думать и чувствовать о тебе, тебя и с тобой.

Что могу рассказать тебе о своей жизни? Бесконечно много и беспредельно бестолково работаю, пытаюсь быть художником без красок, кистей, а на это уходит не только все рабочее, но почти и все нерабочее время. Всегда чувствую самую настоящую радость оттого, что работаю под крышей, а не под открытым всем ветрам, метелям и морозам небом. И хоть более или менее по специальности. По данным условиям — это большое счастье.

Жилищные условия неважные, главное — нет своего угла, в редкие свободные минуты я всегда обречена на общество людей, с которыми у меня ни общего языка, ни общих интересов, и, что наименее приятно, — общее жилье. Вечно донимает холод, несмотря на то, что я превращаю в дрова и то, что сама зарабатываю, и то, что мне присылают. Но все это терпимо, все это даже не лишено интереса, лишь бы знать, что короленковские огоньки — впереди, а не позади. Но сейчас, впервые в жизни, у меня совершенно не о чем мечтать, а я только так и могу жить — следуя за мечтой, как осел за репейником, привязанным к палке погонщика.

Ты вот пишешь, что я умница. А я, честное слово, с бóльшим удовольствием была бы последней дурочкой в Москве, чем первой умницей в Туруханске.

Твоего Шекспира перечитываю до бесконечности. Я им безумно дорожу, и, представь себе, отдала его в руки совершенно незнакомого паренька, который пробовал достать твои стихи в здешней, очень маленькой, библиотечке. Он вернул его в полной сохранности, ему очень понравилось, но он сказал, что ему было нелегко вылавливать тебя из Шекспира, очень просил только твоих стихов, у меня же нет ничего. Я только помню отрывки про море из "1905-го года" и про елку из "Ранних поездов". До сих пор не знаю, что за паренек, видимо, какой-ниб. геолог или геодезист, или еще какой-ниб. "гео". Наверное, и сам пишет.

Пора приниматься за очередное нечто. Крепко тебя целую и люблю. Спасибо за все.

Твоя Аля.

19 янв. 1950

Дорогая моя Алечка, спасибо тебе за твое письмо воздушной почтой от 5-го янв., родная моя. И опять ничего не напишу тебе не из-за недосуга или какой-ниб. "важности" моих дел, а из-за невозможности рассказать тебе главную мою печаль, что было бы глупо и нескромно, и что вообще невозможно по тысяче иных причин.

Но что надо было бы сказать тебе, что было бы радостно и приятно знать тебе, это вот что. Если, несмотря на все испытанное, ты так жива еще и несломлена, то это только живущий Бог в тебе, особая

сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете, и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще будет с тобой, колдовской и волшебный источник твоей будущности, которой нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся часть.

Если бы речь шла о твоей талантливости, я бы так не распространялся. Но бывает еще дар какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств. То что ты, как заговоренная, идешь через эти все несчастья, это чудо тоже творческое, твое, от тебя исходящее.

Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаюсь влюбить тебя в себя или что-нибудь подобное (я без того люблю тебя) — но смотри, что ты можешь: твое письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь, бедная мученица моя, и, помяни мое слово, ты еще увидишь..!

Я тебе пытался доказать тут что-то, недостаточно оформив это для себя. Такие вещи никогда не удаются . . . Послал тебе немного денег и две-три книжки. Когда наконец выйдет однотомник Гете с 1-й частью Фауста в моем переводе и если будут оттиски, pošлю тебе. Крепко целую тебя.

Твой Б.

31. 1. 50

Дорогой мой Борис, это не письмо, а только записочка, через пень-колоду возникающая в окружающей меня суете и сутолоке. Я получила все, посланное

тобой, и за все огромное тебе спасибо. Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели — живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи, со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех любей от и до. Помимо того, что они потрясают, всегда, силой и точностью определения неопишуемого и невыразимого, неосязаемого, всего того, что заставляет страдать и радоваться не только из-за и не только хлебу насущному, они являлись, всегда, и всегда являться будут критерием совести поэтической и совести человеческой. Я тебе напишу о них, когда немного приду в себя — от них же.

На твое письмо я немного рассердилась. Не нужно, дорогой мой Борис, ни обнадеживать, ни хвалить меня, ни, главное, приписывать мне свои же качества и достоинства. Этим же, кстати и некстати, страдала мама, от необычайной одаренности своей одарявшая собой же, своим же талантом, окружающих. Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя!). Кончалось это всегда одинаково: "О как ты обидна и недаровита!" — восклицала мама по адресу очередной смоковницы, и шла дальше, до следующей смоковницы. От них же первый, или первая, емь аз. Больше же всего я рассердилась на то, что, мол, я могу подумать о начале какого-то романа или о чем-то в этом роде. Господи, роман продолжается уже свыше 25 лет, а ты до сих пор не заметил, да еще пытаешься о чем-то

предупреждать или что-то предупреждать. Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно-близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь.

Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба — самые мои любимые люди и поэты, вы оба — моя честь, совесть и гордость. Что касается романа, то он был, есть и будет, со встречами не чаще, чем раз в десять лет, на расстоянии не меньшем, чем в несколько тысяч километров, с письмами не чаще, чем Бог тебе на душу положит. А то, м. б., и без встреч и без писем, с одним только расстоянием.

Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне. Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие — чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает все внутренности, все entrailles, что Прометей с его печенью и что его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном. Как четко и как страшно думается и вспоминается ночью...

Мой бесконечно родной, прости мне мое косноязычие, мое ужасное смоковниче неумение выразить то, что чувствую, думаю, знаю. Но ты, который понимаешь язык ветра, дождя, травы, конечно, поймешь и меня, несложную.

Целую тебя и желаю тебе.

Твоя Аля.

19 февр. 1950

Дорогая Аля! Зачем ты называешь свое большое, полное души и мысли письмо короткой временной запиской, и собираешься сверх неисчислимо многого, сказанного уже в нем, написать мне еще что-то о стихах, точно я такой ненасытимый вампир, — не надо, Алечка. Эти книжки я послал тебе после твоих слов о "пареньке" в клубной библиотеке, на случай, если кому-ниб. понадобится.

Я долго болел гриппом с очень высокой температурой и чувствую себя еще и сейчас совсем разбитым. Тут было какое-то подытоживающее потрясение всего жизненного существа, и чем-то вроде обвинительного приговора после болезни, как после судебного разбирательства, над душой повисла растерянность и слабость.

Я боюсь заговаривать с тобой на эту тему, потому что каждый такой мой намек будет вызывать бурю твоих возражений, но мое авторское барахтанье в жизни чересчур затянулось, у многих гораздо раньше опускались руки, и ведь это недоразумение, я давно смирился и вообще никогда ни на что не притязал.

Я рад, что я житейски нужен семье и несколькими близким, и хотел бы быть нужным двум-трем людям вроде тебя, которых люблю. Потребность в зарработке, которая, Бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод. А об остальном нечего и думать, всему было свое время и надо быть благодарным прошлому.

Мне трудно писать, слабость отражается даже на почерке. Целую тебя.

Твой Б.

Сообщи, пожалуйста, Асе, что я хвораю и не так скоро напишу ей.

22 февр. 1950

Дорогая Аля! Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи, — ты оставь без внимания то письмо.

Мне гораздо легче сейчас, не беспокойся обо мне. Все же одно соображение, высказанное там, остается в силе. Не воображай, пожалуйста, что ты в каком-то нравственном долгу передо мной, что ты меня в чем-то недостаточно убедила, чего-то не договорила или не дописала. Ты всегда исчерпывающе красноречива и сильна, я чувствую и знаю твою любовь и горжусь твоей одаренностью и одухотворением. Я все знаю, не трать времени и сил на меня, они так нужны, так нужны тебе в твоих чудовищных условиях. Говорю не обиняками, это причины прямые, никаких других нет.

Всего тебе лучшего. Будет время и возможность — опять напомню о себе. Спасибо тебе.

Твой Б.

6. 3. 50

Дорогой Борис! Получила два твоих гриппозных письма, одно за другим. Нет, дорогой мой Борис, я очень далека от того, чтобы "чувствовать себя в долгу" перед тобой, и от мысли, что я могу или должна что-то "доказывать" тебе. Неужели на старости лет мои письма, мои попытки писем, делаются такими

же настырными, утомительными и, по долгу человечности, требующими ответа, как Асины? (В жизни не встречала более мучительного чтения!). Прочтя твои отповеди, смягченные неизменным дружелюбием, я почувствовала себя "militante № 2" и ужасно смутилась. Видишь ли, когда мне хочется написать тебе, ну, скажем, о твоих стихах, то это вовсе не по какому-либо долгу службы или дружбы, а просто потому, что это для меня очень большая радость, тем бо́льшая, что у меня их совсем не осталось. В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни, было все — плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять все стало, потому что в них все, бывшее, будущее, вечное, все, чем душа жива. Вот об этом мне тебе хотелось рассказать, но, видимо, все мое здешнее бытие настолько насыщено тревогой и неустойчивостью, что ничего, кроме тревоги и неустойчивости, я не сумела выразить. По себе знаю, насколько утомительны и лишни такие письма, да и такие люди, как их ни люби, ни уважай, ни сочувствуй им. Во всем этом виноваты мои нелепые обстоятельства больше, чем я сама. Правда, все эти пятидесятиградусные, безысходные морозы, теснота и темнота в избушке, непрочность на работе, угнетенное, неравноправное состояние все делают как-то шиворот-навыворот, как в "Алисе в стране чудес". Я не буду больше тебе писать, чтобы не усугублять твоего гриппа, и такого, и душевного.

Мне хотелось тебе писать еще и потому, что ты сам о себе многого не знаешь, т. е. не о себе, а о своих стихах. Вот на днях я получила письмо от одной молоденькой приятельницы, студентки последнего курса Литфака. Она разошлась с мужем, сдала трехлетнего сына бабке и ушла к какому-то юноше, в пользу которого пишет только четыре слова: "чудес-

ные волосы, ярый пастернаковец". Т. к. она существо не типа Далилы, то дело тут явно не в чудесных волосах. Позабавил и тронул меня этот случай, я так живо представила себе, как обладатель вышеупомянутых волос и нескольких книжек твоих стихов очаровал эту двадцатитрехлетнюю женщину несколькими твоими ливнями, грозами, "Вальсом со слезой" и "Рождеством", разбил ее жизнь и умчал ее "на ранних поездах" куда-то под Москву, где она и обретается сейчас, вполне счастливая до той поры, пока не сообразит, что все это — какой-то плагиат. Стихи-то ведь — твои, а что касается волос, то ведь он может облысеть!

Ты их не знаешь, ни его, ни ее, ни многих, многих, для которых твои стихи — та же самая радость, которую мне никак не удастся выразить. Да я теперь и пробовать не буду.

На днях к нам приезжал наш кандидат в депутаты Верховного Совета. Мороз был страшный, но все туруханское население выбежало встречать его. Мальчишки висели на столбах и на заборах, музыканты промывали трубы спиртом, а также и глотки, и репетировали марш "Советский герой". Рабочие и служащее население несло флаги, портреты, плакаты, лозунги, особенно яркие на унылом снежном фоне. И вот с аэродрома раздался звон бубенцов. Мы-то знали, что с аэродрома, но казалось, что едет он со всех четырех сторон сразу, такой здесь чистый воздух и такое сильное эхо. Когда же появились кошевки, напряженные низкорослыми мохнатыми быстрыми лошадами, то все закричали "ура!" и бросились к кандидату, только в общей сутолоке его сразу трудно было узнать, у него было много сопровождающих — и у всех одинаково красные, как ошпаренные морозом, лица. И белые шубы — овчинные. Я сперва

подумала, что я уже пожилая, и не полагается мне бегать и кричать, но не стерпела и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышл, лозунгов, перепрыгивала через плетни, залезала в сугробы, кричала "ура", и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены.

Ты знаешь, я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гулянья и даже ярмарки, так люблю русскую толпу, ни один театр, ни одно "нарочное" зрелище никогда не доставляло мне такого большого удовольствия, как какой-ниб. народный праздник, выплеснувшийся на улицы — города ли, села ли.

То, чего мама терпеть не могла.

И опять я написала тебе много всякой ерунды, такой лишней в теперешней твоей жизни. Как я хорошо себе представляю ее, чувствую, да просто знаю!

Крепко тебя целую. Не более больше!

Твоя Аля.

29 марта 1950

Дорогая Аля! Получил замечательное твое, по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и отвечаю, по обыкновению, коротко и второпях.

Чудно ты пишешь о приезде депутата, о встрече его и о себе. Ты сама это знаешь. И на притворную тему "militante № 2" тоже великолепно ломаешься. И тоже все чудно знаешь. Я тебя крепко целую.

Если "Воскресение" с частью отцовских иллюстраций я по забывчивости посылаю тебе вторично, ты меня прости и книгу подари кому-ниб. другому.

В книгу я всунул несколько страниц новых стихов, продолжение прежних (Из романа в прозе), я их написал в ноябре и декабре. Они сразу оттолкнул тебя, покажутся неяркими и чересчур (нехудожественно) личными. Но если, перечтя их, по прошествии некот. времени, ты их допустишь, и если то, что я тебе сейчас предложу, покажется тебе имеющим смысл, исполнимым и удобным, перепиши их (хотя бы от руки) и пошли Асе.

Но вопрос, дойдут ли они вообще по почте, п. ч. я всунул их в книгу и м.б. этого нельзя делать.

Я обрадовался твоему письму еще и оттого, что начал беспокоиться о твоём здоровье.

Твой Б.

У меня ничего не изменилось, но сам я здоров, много и хорошо работаю.

Напиши, когда все получишь и спишешься с Асей.

29 марта 1950

Дорогая Аля! Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтовом отделении я сдавал еще другие отправления, и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень возможно, что оно пропало там среди клоков оберточной бумаги где-ниб. в корзине и не пошло к тебе.

В письме были, немногим подробнее, чем тут (так что ты не жалея), восторги по поводу твоего описания приезда депутата и того, как ты притвор-

но клеветешь на себя (militante № 2), великолепно все зная и понимая.

Кроме того, было несколько просьб:

1) если бы оказалось, что посланное тебе "Воскресение" я уже однажды подарил тебе, чтобы ты извинила мою забывчивость и книгу подарила кому-нибудь другому.

2) Чтобы, в случае если бы ты в конце концов привыкла к нескольким стихотворениям, всунутым в "Воскресение", (продолжению стихов "Из романа в прозе") и они перестали бы отталкивать тебя, и если бы ты нашла это возможным и целесообразным, ты переписала их и послала Асе. Я написал их в начале зимы.

Милый друг, глупо, что написав с нечеловеческой торопливостью то послание, я ухитрился потерять его, вынудив эту еще более обидную скороговорку.

Прости меня. Целую тебя.

Твой Б.

10 апреля 1950

Дорогой Борис! Твои письма, оба, дошли до меня в тот же день и час, — и книга, и стихи. Спасибо тебе.

О стихах: среди всего твоего, мною прочитанного когда-либо, нет и не было "отталкивающего", да пожалуй и не может быть, слишком велика притягательная сущность твоих стихов, чтобы была возможна хоть в какой-то мере какая-то контр-притягательная сила. Насчет же "неяркости" и "нехудо-

жественно-личного”, то, по-моему, ни ”яркостью”, ни ”художественностью” стихи твои никогда, слава Богу, не грешили. Для меня ”яркость” синоним ”внешнего”, а ”художественность” граничит с искусственностью. В последнем я, может быть, неправа, понимая это по-своему, а м.б. у меня это атавизм типа галлицизма, т. е. ”art” — ”artificiel”. По-моему, неспроста отсутствует у галлов понятие ”художественности”, при наличии понятий искусства и ремесла. Как ты думаешь? Да и вообще, может ли твое личное оказаться ”нехудожественным”, претворясь в стихотворение? Подчеркнула ”твое”, т.к. у многих — может, а у тебя не получается.

Стихи твои — прекрасны. Спасибо тебе за них, за то, что ты их пишешь, за то, что ты — ты.

Все перепишу и пошлю.

Что же до ”militante № 2”, то эта тема не притворна и не разыграна. Потому что со мной тоже не раз случалось — получать письма, написанные от души, но так, что их душа не приемлет, ибо ужасно трудно любить так, как нужно любимому, а не любящему (не прими это как-ниб. узко!), и писать так, как это нужно адресату, особенно гриппозному. Тут дело не в том, чтобы ”подладиться” как-то, а — чтобы это было именно то самое.

Один экз. ”Воскресения” ты мне подарил в Москве, но я не смогла захватить его сюда с собой. Очень рада, что ты прислал мне эту книгу, не из-за Толстого, а из-за отца, осуществившего тему лучше, чем автор, т. е. с меньшей любовью, но абсолютно без сентиментальности. Ты понимаешь, вторая половина книги расхолаживает меня к первой, прекрасной, тем, что напряжение, по теме и замыслу долженствующее нарастать, падает, расплывается, захлебывается в лжи толстовской ”правды”, точно уже не Толстой, а его вегетарианцы писали.

Жаль, что репродукции неважные и часть иллюстраций срезана — видимо, чтобы не уменьшать до искажения. Вот например в иллюстрации к заутрене (или к чистому четвергу?) — там, где все со свечками, — срезана чудная фигурка мальчика, который крестится, с силой сжимая пальчики, сложенные щепоткой, в лоб, как бабушка учила. Беленькая головка наклонена, только темя видно и эта ручонка. А особенно сильна сцена, где Катюша, в арестантском халате, почти спиной к зрителю, видит там, вдали, Нехлюдова, а за ее спиной конвоир, так вот **на стороженность** руки конвоира.

Часть этих иллюстраций, в чудесных репродукциях, я видела в монографии твоего отца в Рязани — писала тебе тогда об этой книге, и до сих пор не могу себе простить, что не догадалась украсть ее, там столько чудесного, и много портретов вас, детей и подростков, и матери.

Живу все так же. Жду весны, как никогда в жизни. Бывало, весна приходила своим чередом, а здесь, чтобы она пришла, нужно все сверхчеловеческое напряжение человеческой воли, ибо здесь она не просто весна, а такое же чудо, как воскресение Лазаря, настолько все мертво и спеленуто. (Как хорошо у тебя про Лазаря в последних стихах!). И вот я все время из недр своих взываю и вопияху, но вызвала пока что только один-единственный весенний день с настоящей капелью и попытками луж. Обрадовалась — и все пропало. Пурга, заносы, морозы.

А наше село чем-то похоже на Вифлеем. Каким-то библейским убожеством, м. б. таящим в себе Чудо, а м. б. только ожиданием его, чаянием.

Снега и снега, лачуги, лохматые коровы, косматые псы. Все время приходится перебарывать возникающее от пейзажа и окружения желание волочить ноги и

сутулиться, насколько город подтягивает, настолько село, да еще северное, размагничивает.

Работаю много, часто выше своих, теперь небольших, сил, но работа эта не утоляет жажды настоящей работы и даже не заглушает ее, несмотря на то, что считаюсь художником и работа близка к специальности.

Чувствую себя неважно, плохо переношу климат. Постоянная противная температура в окрестностях 37,5, и постоянно чувствую сердце, это, плюс многое другое, очень утомляет.

Но в общем все, как всегда, терпимо.

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля.

17. 4. 50

Дорогой Борис! Большое тебе спасибо за деньги, ты и представить себе не можешь, как они меня выручили, и как кстати пришли. А главное, спасибо за заботу. Я с каждым годом становлюсь все беспризорнее, все забвеннее (?), и тем большим чудом кажется мне человеческое внимание, человеческое добро. Сама я, мне кажется, черствее прежнего не стала, но сентиментальности лишилась абсолютно, так же как и слезного дара, которым в молодости обладала превыше всякого другого — лет до 20-ти рыдала над чеховской "Каштанкой", плакала в кино, и т. д. И, представь себе, израсходовала весь свой слезный запас лет около 10 тому назад, теперь способна плакать

только если очень радуюсь, что со мной случается редко.

У нас один за другим подряд три весенних дня. Снег чернеет, делается губчатым и рассыпчатым, с крыш бежит вода, а по небу — серые, теплые облака. Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полосу леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц. От солнца все становится гибким, и веточки лиственниц, и пышные, как лисьи хвосты, ветви пихт, а очертания теряют свою зимнюю сухость, четкость, схематичность. На свет божий выползают ребятишки и щенята, урожая этой зимы, выращенные в избах наравне с телятами и курами. Птиц еще не видно и не слышно, только однажды увидела какую-то случайную стайку странных хохлатых воробьев с белой грудкой.

Как удивительно, что в последнее время я совсем не живу, а, скажем, "переживаю" зиму, "доживаю" до весны и т. д. (Прости за гадкую бумагу, здесь и такую трудно добыть).

Сегодня ходила к врачу, она сказала мне, что нельзя в таком возрасте иметь такое сердце, посоветовала мне побольше отдыхать и беречься волнений и переживаний. И прописала всякой дряни внутрь. Причем, насколько я соображаю, дряни взаимоисключающей. Насчет отдохнуть, не волноваться и не переживать сам догадываешься, а насчет сердца — неправда, оно еще повоюет.

Какая меня всегда тоска за душу хватает от казенных помещений и присущих им казенных же запахов — милиций, амбулаторий, контор и т. д. Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих, — обросших щетиной мужчин, бледных женщин с развившимися волосами,

подростков с патетическими веснушками на скуластых мордочках. Скамьи со спинками, отполированными спинами, плакаты "Мы излечились от рака", "Берегите детей от летних поносов", отполированные взглядами, ай-ай-ай, какая тоска! и все эти разговоры вполголоса о боли под ложечкой, под лопаткой, в желудке, в грудях, в висках, о боли, боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой скулящей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично-здоровой, хочется встряхнуться и удрать.

А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо оципанная и бесперспективная (чудесное словечко!). Осенняя муха, а не тоска.

Пишу тебе всякую несомненную ерунду. Кругом так шумно, тесно, неудобно, и, несмотря ни на что, так хочется хоть немного поговорить с тобой, т. е., вернее, смотря на все, так хочется поговорить с тобой! Все бы ничего, но я ужасно тоскую, грущу и по-настоящему страдаю о и по Москве. Как никогда в жизни. А ведь жила я там так мало, до 8-ми лет ребенком и потом взрослой года три в общей сложности, вот и все. Это — самая страшная тоска, тоска — неразделенной любви, что ли! Сколько же я видела в жизни городов, стройных и прекрасных, сколько любовалась ими, понимала и ценила, но не любила, нет, никогда. И, покинув их, не больше вспоминала, чем декорации когда-то виденных пьес.

Но этот город — действительно город моего сердца, и сердца моей матери, м о й город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу — в самом деле, а не для

красного словца — московские улицы, улочки и переулки, именно московские, а не какие-ниб. другие. А вместе с тем ж и т ь в Москве я бы не хотела, не хотела бы, чтобы этот город стал для меня будничным городом нескольких привычных маршрутов. И с удовольствием — если бы жизнь моя была в моих собственных руках, жила и работала очень далеко от Москвы, и именно на севере, еще севернее, чем здесь, — жила и работала бы по-настоящему, не так, как сейчас приходится. Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово! Крайний Север — непочатый край для писателя, а никто решительно ничего настоящего о нем не написал.

А потом прилетала бы в Москву, окуналась бы в нее — и опять улетала бы.

Все "бы" да "бы".

Крепко целую тебя. Спасибо тебе.

Твоя Аля.

5. 5. 1950

Дорогой Борис! Огромная к тебе просьба: мне очень нужны мамины стихи: 1 — цикл стихов к Пушкину, 2 — цикл стихов к Маяковскому и 3 — цикл стихов о Чехии. Последний цикл написан был мамой в период захвата Гитлером Чехословакии. М. б. все это есть у тебя, если нет, то может быть у Крученых, у к-го много маминых вещей, рукописных и перепечатанных. Если нет ни у тебя, ни у Крученых, то есть у Лили⁹ в черновиках. Мне нужны обязательно все три цикла. Теперь так — если ты обратишься к Крученых,

то очень попрошу тебя — не от моего имени. Мы с ним не очень ладим, и мне он может отказать, а тебе наверное нет. И последняя инстанция — Лиля. Там труднее всего, т. к. они обе устали, больны, им это очень утомительно и трудно, и кроме того действительно нелегко разыскать нужное в черновиках, если у них нет оттисков или хотя бы переписанного набело. Только мне очень хочется, чтобы все мамины тетради остались на месте, т. к. даже при самом бережном отношении что-ниб. может пропасть, как это случилось с письмами, а рукописи — невозстановимы.

Я знаю, что тебе это будет очень трудно, но просить мне больше некого, т. к. только тебе могу доверить эту просьбу, во-первых, и вообще во-вторых. Очень прошу тебя, сделай это, и если возможно — поскорее.

Кроме того, если есть возможность, пришли немного хотя бы своих книг, т. е. книг своих стихов, у меня на руках осталось только надписанное тобою мне, а читателей, и среди них таких, которые заслуживают иметь твои книги, много. Если нельзя прислать несколько экземпляров, то пришли хоть немного, и я отдам в библиотеку, где часто тебя спрашивают и где нет ничего твоего.

Прости за эти трудновыполнимые просьбы. Один Бог знает, кажется, с какой радостью я все это сделала бы сама!

Пишу тебе поздно вечером, в нетрезвом от усталости состоянии. Сегодня — день печати, и пришлось много поработать, да и от предмайской усталости еще не очухалась. Время приближается к полуночи, а на улице еще совсем светло. Если не теплом, так светом хороша северная весна. А она уже в полном разгаре. Совсем недавно осознала, почему именно весну я люблю меньше всех остальных времен года. С утра — снег огромными хлопьями, потом солнце проталкивается

сквозь облака, тает, с крыш вода, под ногами лужи, проталины, ручьи. Потом резкий холодный ветер, гололедица, сосульки. Потом теплый, ленивый и уже почти душистый ветерок, и вновь снег хлопьями, а затем дождит. И так — целыми днями и ночами. И вот, шла я по мостику через овраг, на меня накинулся влажный ветер и начал рвать с меня платок и хватать за колени, бросил мне в лицо несколько угрожающих пригоршней снега, заставил запахнуть и чертыхнуться. Еще несколько шагов — овраг позади, тишина, солнце светит, все кругом мирно, тепло и ярко. Весь предыдущий гнев оказался шуткой, м. б. даже инсценировкой! Тут меня и осенило, почему к весне я не так благоволю: она ведь женщина, настоящая, с вечной сменой настроений, с такой искренней легкостью переходящая от смеха к слезам, от слов к делу, и даже от поцелуев к пощечинам! Женщина, т. е. я сама, и поэтому только видимо я предпочитаю ей, со всей неустойчивостью ее характера, определенность лета, выдержку осени и суровость зимы. (Последнее желательно в более умеренном климате!).

Скоро ледоход. Я впервые увижу его на такой большой реке. Енисей — огромный, шире Волги намного. Я боюсь ледохода, даже на Москва-реке. Это страшно, как роды. Весна рождает реку. Последний ледоход я видела в прошлом году на Оке, и мне было в самом деле и страшно и немного неловко смотреть, как на что-то личное и тайное в природе, несмотря на то, что все было так явно!

У меня опять очередное несчастье — через две недели я буду без работы, т. е. нашему учреждению не на что нас, не-бюджетных, живущих на "привлеченные средства", — содержать. А работу найти очень трудно, почти невозможно. Господи, как жить, что делать, о какую стенку головой биться, и ума не при-

ложу! М.б. за эти две недели что-ниб. чудесным образом наклонется, хотя шансов на это никаких. Никак не вылезу из серии плохих чудес, никак не попаду в хорошие! (чудеса).

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

25 мая 1950

Дорогая Аля! О Чехии пришет тебе Елиз. Як., к Пушкину достанет Крученых, разыщем и о Маяковском. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет.

Каждый раз как заходит разговор о маминих книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется, это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого, как жизни, и как жизнь растекшегося. Это все в чьих-то руках, но поди вспомни в чьих, когда их — так неисчислимо много! Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как складывалась жизнь и пр., оправдать меня не могут, а разве только послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. Так, проезжая на антифашистский съезд, где я тебя видел, я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались. Это все одного порядка, и этого много у меня в жизни, но клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви! !

У тебя очень хорошо о весне, о ледоходе.

У меня все так же нет ничего своего, что я мог бы послать тебе. Посылаю тебе однотомник Гете нарочно без надписи, чтобы ты могла подарить его вашей библиотеке с твоею собственной, если это тебе будет интересно.

В однотомнике есть мой перевод Фауста, и не будет ничего удивительного, если он удовлетворит тебя. Сколько принесено было в жизни жертв призванию, какая создана замкнутость и пр., пора, кажется, научиться. Гораздо удивительнее совершенство остальных переводов, мелких и крупных, людей с более скромным именем, среди которых мой Фауст потерялся.

Это было для меня открытием. И переводить, как оказывается, не стоит, все научились.

Крепко целую тебя.

Как только будет возможность, переведу тебе денег.

Твой Б.

20 мая 1950

Дорогая Аля. Вот "к Пушкину", достали только вторую половину, первую разыскивают. О Чехии придет Елиз. Яковлевна. Это переписал своей рукой Крученых, и я не даю переписывать на машинке, чтобы не задерживать.

Осталось о Маяковском, делают и это.

Прости меня за торопливость, послал тебе заказной бандеролью однотомник Гете, просмотри, что тебе

будет интересно, и потом от себя со своей надписью подари в вашу библиотеку.

Твой Б.

7. 6. 50

Дорогой Борис! Получила твое письмо, и второе со стихами, и только сейчас осознала, до какой степени разрознено все мамино. То, что переписал Крученых, лишь незначительная часть пушкинского цикла, а не то что "первая" или "вторая". Там было не менее десяти стихотворений — я, конечно, могла бы восстановить в памяти хоть названья, если бы голова не была сейчас так заморочена и не похожа на самое себя.

Когда я думаю об огромном количестве всего написанного ею и потерянного нами, мне страшно делается. И еще страшнее делается, когда думаю, как это писалось. Целая жизнь труда, труд всей жизни. И еще многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель ее жизни и творчества, день за днем, час за часом, на протяжении огромного количества лет. Мы ведь никогда не расставались до моего отъезда, только тогда, когда я уехала, она писала без меня, и то уже совсем немного.

Я никогда не смогу сделать этого, я разлучена с ее рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для нее живой, и для мертвой не могу.

Мне очень понятно все, о чем ты говоришь. Конечно, тогда ты не мог увидеться с родителями, тогда еще казалось, что главное хорошее — впереди, тогда еще многое "казалось", а жизнь проходила, и для многих — прошла уже. Как же тяжело чем дальше, тем больше сталкиваться с невозстановимым и непоправимым.

Я ужасно устала. Такая длинная, такая темная и холодная зима, постоянное, напряженное преодоление ее, а теперь вот весна — дождь и ветер, ветер и дождь, вздыбившаяся свинцовая река, белые ночи, серые дни. Ледоход начался 20 мая, и до сих пор по реке бегут, правда все более и более редкие, все более и более обглоданные, льдины. Пошли катера, этой или будущей ночью придет первый пароход из Красноярска. Но пока что нигде никакой зелени, по селу бродят грустные, низкорослые, покрытые клочьями зимней шерсти коровы и гложут кору с жердей немудреных наших заборов.

Одним словом, мне ужасно кюхельбекерно и скучно — надеюсь, что только до первого настоящего солнечного дня.

Пишу тебе ночью. Без лампы. Спать не хочется, и жить тоже не особенно. Тем более, что живется так нелегко, так дерганно и так неуверенно! Утешаю себя мудростью Соломонова перстня, на котором было начертано, как известно из Библии и из Куприна, — "и это пройдет". Нежеланье жить пройдет так же, как желанье, да и как сама жизнь. И ты отлично понимаешь, что такая нехитрая философия наваяна вот этой самой белой ночью, вот этим самым атлантическим ветром, вот этим самым ливнем, пронзающим всю нахохлившуюся природу.

И сквозь все это — архангельским гласом гудок парохода — первый гудок первого парохода. Значит, пришел "Иосиф Сталин", теплоход, чьим капитаном —

наш депутат, о встрече с которым я тебе как-то писала.

Сбилась с ног окончательно со всеми своими неполадками с работой и квартирным вопросом, который здесь острее и необоснованней, чем в Москве. В каких углах, хибарах и странных жилищах я только не побывала! Но все ничего, только бы солнца! У меня без него какая-то душевная цинга развивается!

Книгу, о к-ой пишешь, еще не получила, жду с нетерпением и вряд ли отдам. Самой нужны стихи. По уши увязла в прозе.

Спасибо тебе за все, за все, мой дорогой. Как только у меня что-ниб. "утрясется", напишу тебе по-человечески, а сейчас только по-дождливому пишется.

Очень люблю тебя за все.

Твоя Аля.

24 июня 1950

Дорогой Борис! Большое спасибо тебе за посланное, все получила. Благодаря тебе смогла переехать на другую квартиру, хоть и далекую от центра и от совершенства, но несравненно лучшую, чем та, в которой буквально и фигурально прозябала всю страшную зиму. Это — крохотный домик на самом берегу Енисея, комнатка и маленькая кухонька, три окошка, на юг, восток и запад. Огород в три грядки и три елочки. Домик продавался, и приятельница,¹⁰ с которой я живу, мечтала купить его, но для приобретения не хватало как раз присланной тобой суммы, а как только я ее получила, мы сразу его купили, и таким

образом я, в лучших условиях никогда не имевшая недвижимого имущества, вдруг здесь, на севере, стала если не вполне домовладелицей, то хоть совладелицей. Впрочем, в недвижимости этого жилища я не вполне уверена, т. к. оно довольно близко от реки и при большом разливе, пожалуй, может превратиться в движимое имущество. Но до разлива еще целый год, и пока что я просто счастлива, что могу жить без соседей, без хозяев и тому подобных соглядатаев.

Долго не писала тебе, т. к. переезд с места на место здесь дело чрезвычайно долгое, сложное и трудоемкое. Устала я бесконечно, и к тому же все время хвораю чем-то непонятным и, вероятно, северным. Температуру и сохну — видимо, климат неподходящий, никак не пускаются корни в этой бесплодной, каменистой, насквозь промерзшей почве.

22 июня вновь пошел, и к счастью скоро прошел, снег. Все время ветер и дождь, холодно. За все время было 3—4 хороших, ясных, солнечных дня, когда все кругом преобразилось: сколько красок скрывается в этой сумрачной природе, и для того, чтобы вся тоска превратилась в радость, нужно только одно: солнце! Оно не закатывается сейчас круглые сутки, но его все равно не видно. А ночи, правда, совсем нет, "и изумленные народы не знают, что им предпринять, ложиться спать или вставать!"

Гете я еще не читала, т. к. все мучаюсь с водой, дровами, огородом, стиркой, приведением в порядок и отоплением жилища, да и на работе, где мне урезали наполовину мою и так небольшую ставку, в то же время забыли сократить рабочий день, т. ч. работаю не меньше, чем зимой, а зарплату в последний раз получила в апреле!

М. б. в конце концов работы у меня не так много, как мне кажется. Дело, очевидно, в силах, которых

все меньше. Оттого и времени убиваешь значительно больше, чем нужно бы, на то, что раньше делалось походя.

Стихов от Лили еще не получила, не знаю, сумела ли она их разыскать до отъезда на дачу. Она выслала мне посылки со всяким моим старьем, но я еще не все получила, т. ч. м. б. стихи окажутся в какой-ниб. из них. Писем от Лили давно не получаю, но по талончику от извещения на посылку узнала, что она переехала на дачу. Дай ей Бог хоть немного поправиться, она ведь очень слаба, и я над ней дрожу — на таком огромном расстоянии. Разумом знаю, что мы с ней больше не увидимся, а все же надеюсь на чудо встречи.

Спасибо тебе, родной мой. Когда чуть очухаюсь, напишу тебе по-человечески. Сейчас пишу — как и все делаю в последнее время — через пень-колоду.

Целую тебя.

Твоя Аля.

1 августа 1950

Дорогой Борис! Так давно не писала тебе — болела, с трудом выкарабкалась, и теперь опять вроде живу, хотя ноги еще слабые и кажутся поэтому чересчур длинными, вроде верблюжьих, или как в "Алисе в стране чудес". Здесь воистину страна чудес, только несколько дней, как хоть ненадолго стало закатываться солнце, и ему на смену выползает огромная багровая луна, страшная, точно конец мира, но небо еще совсем светлое, и, кажется, луна совсем ни к чему. Коротенькое лето уже прошло, почти без тепла, все

в беспокойных дождях, ветрах, в сплошной "переменной облачности". И уже с севера всерьез тянет холодом, и солнце греет как-то поверхностно, не сливаясь с воздухом, а главное, в неуспешной как следует потемнеть зелени, в ее еще по сути дела весенней, цыплячьей желтизне, появляется уже настоящая осенняя ржавчина. Знаю, что скоро зима, что она неизбежна, что в сентябре уже снег и мороз, а еще не верится. Кажется, что еще долго по Енисею будут ходить пароходы, тащиться баржи, рыскать катера, что еще долго будут крикать утки и ночью посвистывать кулики, и надоедать мошки и комары, и что двери покосившихся хаток еще долго будут открыты, и побледневшие до синевы за долгую зиму дети будут розоветь и подрастать на глазах, неумело играя в летние игры на сером, каменистом берегу. А всему этому счастью остались считанные дни, и в это не верится, как в смерть.

Ты очень давно не писал мне, и хоть предупредил в последнем письме о том, что летом будешь очень занят, мне все же тревожно. Правда, я еще не совсем такая безумная, как Ася, которая вся состоит из тревог, предчувствий и вещей снов, но все же и я на этот счет слегка тронута. Когда долго нет писем — схожу с ума, а когда наконец получаю их и узнаю, что все живы и здоровы, то мне, неблагодарной, это кажется настолько естественным, что до следующего почтового перебоя свято верю в то, что все — хорошо, всем — хорошо, отныне и до века.

Ася пишет редко и под копирку, вписывая от руки обращение и финал, и в письмах ее столько жалкого, что заранее хочется отложить, не читая, якобы потому, что в почерке ее можно разобраться только на досуге. Я рада, что побывала у них под Вологдой, но тем не менее это был настоящий Эдгар

По — даже хуже. От Лили за все лето не получила ни одного письма и с ужасом думаю о ее старости, о ее слабости, о сердце, которое скоро откажется служить, обо всем том, что осталось ею нерассказанным, последней старшей в семье, о родителях, ее и моих, о всей долгой жизни, которая так неотвратно подходит к концу. Я очень, очень люблю ее, и просто так, и за необычайную ее чистоту и благородство, простоту и жизненность, и еще за чудесное несоответствие в ее лице трагических бровей и глаз с легкомысленным носом и легко смеющимся ртом. А главное — она старшая в семье, нескольким поколениям заменявшая мать и не знавшая материнства. Почему в нашей семье у всех женщин такие удивительные судьбы? Причем каждая из нас помимо своей — несет еще и груз остальных судеб, понимая их, вникая в них.

Я не помню, писала ли тебе о том, что мы с приятельницей, с которой ехали с самой Рязани и здесь вместе живем, купили маленький домик на берегу Енисея. Осуществить такое несбыточное мы смогли — она — благодаря домашним сбережениям, я — благодаря тебе. Домик — крохотный, комната и кухонька, сейчас своими силами пристраиваем сени, чтобы зимой было теплее. Окна — на восток, юг и запад. По материалам, из которых он построен, домик вполне диккенсовский, так что совершенно невозможно угадать, как он будет переносить зимние непогоды и прочие бури. Во-первых — его может унести ветром (это зимой), а весной — унести водой. Впрочем, все остальные туруханские постройки такие же, и ничего себе, стоят. Наш домик оштукатурен и побелен снаружи и внутри. Мы обнесли его загородкой из жердей, чтобы не лазили мальчишки и коровы, вокруг посадили березки и елочки, но принялись только три деревца. Вид — чудесный, кругом спокойно и просторно, а

главное — никаких хозяев, соседей, соглядатаев. Спасибо тебе за все, дорогой мой!

Заболела я совершенно неожиданно дизентерией, видимо, от енисейской водички, которая хотя и светла и приятна на вкус, но летом пить ее не рекомендуется. Это ужасно противная болезнь, от которой так слабеешь, что каждое движение вызывает какое-то тошное, как, наверное, перед смертью, чувство. Какая тоска, когда тело перестает повиноваться, страдая и слабея, и с ним вместе страдает и слабеет душа, отказываясь от бессмертия и цепляясь за жизнь, да и так ли уж цепляясь? Но правда, наступил и в моей жизни период, когда гляжу вперед несмело, чувствуя, что сил остается все меньше. И вдруг получится так, что жизни будет больше, чем сил? Прости, что я такой нытик, вот встану на ноги и душа будет бодрее. А сейчас так и тянет поваляться на луну.

Крепко тебя целую и жду двух-трех слов на открытке.

Твоя Аля.

8. 9. 50

Дорогой Борис! Все никак не удается написать тебе, а вместе с тем нет ни одного дня, чтобы не думала о тебе и не говорила бы с тобой. Но занятость и усталость такие, что всем этим мыслям и разговорам так и не удастся добраться до бумаги. Большое, хоть и ужасно запоздалое, тебе спасибо за твоего "Фауста". Для меня он — откровение, т. к. до этого читала (уже давно) в старых переводах, русских и французских,

где за всеми словесными нагромождениями Гете совершенно пропадал, вместе с читателем. Я, любя твое, очень к тебе придирчива, но тут о придирках не может быть и речи — безупречно.

Вообще — прекрасен язык твоих переводов, шекспировские я все читала, ты, как никто, умеешь, помимо остального, передавать эпоху, не вдаваясь в архаичность, что ли, благодаря этому читающий чувствует себя современником героев, их язык — его язык. Необычайное у тебя богатство словаря. Фауста прочла сперва начерно, сейчас перечитываю медленно и с наслаждением, по-настоящему наслаждаюсь каждым словом и словечком, рифмами, ритмами, и тем, что все это — живое, крепкое, сильное, настоящее.

Милый мой Борис, жестоко ошибаются те, кто не чувствует в твоём творчестве жизнеутверждающего начала. Тебе, конечно, от этого не легче! Не тот критик плох, который писать не умеет, — а тот, который не умеет читать!

Как всегда, пишу тебе поздно, как всегда усталая, и поэтому, опять-таки как всегда, не в состоянии рассказать тебе все, что хочется, и так, как хотелось бы. Здешний быт пожирает все время без остатка, и в первую очередь то, что дается человеку для того, чтобы быть самим собою. А я — я тогда, когда пишу, иногда, когда рисую, иногда, когда читаю. Читать удастся чуть-чуть за счет сна, а насчет писаний и рисования — ничего не получается, как ни пытаюсь отстоять хотя бы один час своего собственного времени в сутки.

Но в жизни остается много радостного. В этом году здесь чудная осень, холодная и ясная, я несколько раз ходила в лес за грибами, за ягодами и чувствовала себя просто счастливой среди золотых осин, золотых берез, счастливой, как в детстве, которое в памяти моей связано тоже с лесом. Как я люблю шелест

листьев под ногами и пружинящий мох — мне всегда кажется, что мама — близко. Верующие служат панихиды по умершим, а я в память мамы хожу в лес, и там, живая среди живых деревьев, думаю о ней, живой, даже не "думаю", а как-то сердцем, всей собою, близко к ней.

Благодаря тебе с жильем все у меня налажено и улажено, славный маленький домик на берегу Енисея, комната и кухня, живем вдвоем с приятельницей, и с нами собака. Пристроили сени, все оштукатурили снаружи и внутри, все — сами, и теперь все побелила, и известка так съела пальцы, что перо держу раскарякой, особенно большой и указательный пальцы пострадали. Все лето провозилась с глиной, навозом и пр. стройматериалами. Трудно, т. к. обе работаем, но зато надемся, что зимой теплее будет, чем в прежней хибарке. И главное — ни хозяев, ни соседей, так хорошо! Осталось осуществить еще очень трудное — запастись топливом и картошку на зиму, особенно трудно с дровами, их надо очень много, а пока еще нет ни полена. Вот-вот начнутся дожди, а тогда к лесу не подступишься. Трудно здесь с транспортом.

Все домашнее делаю сама, готовлю, стираю, мою полы, таскаю воду, пилю, колю, топлю. Как вспомню о газе и центральном отоплении — завидно становится: сколько же свободного времени дают они людям! Боюсь, что в Туруханске такие вещи заведутся в самую последнюю очередь — когда правнукам, хоть не лично моим, а моих односельчан, надоест жить по старинке.

Скоро, очень скоро зима. Уже холод и тьма берут нас в окружение. Как-то удастся перезимовать! Скоро полетят отсюда гуси-лебеди, скоро пройдут последние пароходы — да что гуси-лебеди! Даже вороны улетают, не переносят климата!

Когда будет минутка, напиши хоть открытку, я очень давно ничего о тебе не знаю. Даже Лиля, и та чаще пишет. Жалуется она на дождливое лето. Надеюсь, дождь не помешал тебе хорошо работать, и, работая, хоть немного отдохнуть от города. А я бы уже с удовольствием отдохнула от деревни.

На днях впала в детство — затаив дыхание смотрела "Монте-Кристо" в кино. Только, к сожалению, не дублировано, почему-то все говорили по-французски.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

21 сент. 1950

Дорогая Аля! Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожусь. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные.

Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде Шексп. Макбета? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в "Нов. мире" выругали моего "Фауста" на том основании, что, будто бы, боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все "иррациональное" передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится.

Прости, и толкового письма жди от меня нескоро. На пристройку к енисейскому домику хочу послать тебе, но смогу не раньше ноября.

Бросаю писать, потому что ничего путного все равно не смогу сказать: не вижу подходящих эпистолярных форм.

Мне написала со своей дачи Елиз. Яковл., в письме тревожится о тебе и хвалит твою акварель с видом Енисея.

Как мы с тобой похожи! Все, что ты писала об Асе, об ее способе переписываться через копирку, и об ее обстоятельствах и пр., — в точности повторяется со мною.

Целую тебя.

Твой Б.

25 сентября 1950

Дорогой Борис! От тебя так давно нет ни слова, что я по-настоящему встревожена: здоров ли ты? Если здоров, и даже если болен, то по получении этого письма напиши мне открытку, для успокоения, пойми, насколько это выматывает силы — постоянно тревожиться о нескольких последних близких, оставшихся в живых. В самом деле — каждая весточка с "материка" прибавляет бодрости, они — последнее горячее для моего мотора ("а вместо сердца пламенный мотор!"), каковой в это лето работает с большими перебоями.

А лето для здешних мест было хорошее, много дней подряд стояла ясная погода, и благодаря этому все тайное в природе становилось явным и было очень

красиво. Только схватывать эту красоту удавалось урывками из-за постоянной, непрерывной занятости. "Мелочи жизни" заели окончательно и меня, и жизнь мою. В постоянном барахтанье, суете, борьбе за хлеб насущный я еще никогда не жила, хоть и приходилось по-всякому. Но всегда, при любых обстоятельствах, удавалось урывать хоть сколько-то времени "для души". Здесь — невозможно, и поэтому я всегда неспокойна, все мои доотказу заполненные дни кажутся безнадежно пустыми, обвиняю себя в лени, а на самом деле это совсем не так. Ты представляешь себе, какой ужас — трудовой день, результатом которого является только сытость и только сон! Все спавшее во мне ранее до того дня, когда можно будет проснуться, теперь определенно проснулось и бодрствует вхолостую, с полным сознанием безвозвратности каждого проходящего часа, дня, месяца. А их прошло уже немало. Жить же иначе здесь невозможно, либо в живых не останешься, либо нужно выигрывать самую крупную сумму при каждом тираже каждого займа, и жить чужим трудом, что всегда нестерпимо, — даже мама, которая вполне имела на это право, всегда старалась все делать сама — как я ее понимаю!

Но все же надеюсь, что дальше будет легче, м.б. даже зимой будет оставаться свободное время на что-то свое, т. к. лето — сплошная подготовка к зиме, и таким образом теоретически зимой должно быть свободнее и спокойнее. Но как только вспомнишь, что зима тоже является подготовкой к лету, так и чувствуешь, что до конца дней своих так и будешь кружиться, сперва как белка в колесе, потом — как слепая лошадь, только не помню где, в чем кружатся слепые лошади, но знаю, что кружатся! Между прочим, кстати о белке, у меня была белка, сразу в клетке и в колесе, т.е. белка в квадрате. Я была маленькая, беличья клетка стояла

на окне в моей детской, белка была рыжая с белой грудкой, и смотреть на то, как она крутится в колесе, было совсем неинтересно.

За лето мы с приятельницей, с которой живем вместе, утеплили и оштукатурили домик, в котором живем, сами пристроили к нему сени, которые также оштукатурили, — а это только написать легко! Строительный материал добыть было очень и очень нелегко, т. к. частным лицам такие вещи не продаются, но, в конце концов, притворившись организацией, кое-как купили необходимое количество горбылей, которые по одному нужно было притащить на себе. Потом всеми правдами и неправдами искали и находили гвозди. Потом заказали дверь, которую нам сделали сначала слишком узкой, потом слишком короткой, но потом она как-то разбухла, села, одним словом как-то исковеркалась и стала такой, как нужно.

Потом мучились со всякими замками, крючками, рамами, стеклами, планками, дранками и т. д.

Таскали из леса мох, из оврагов глину, собирали, делая вид, что это не мы, конский и коровий навоз для штукатурки и затирки, "то соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет". Все это — до и после работы, и плюс к этому — готовка, стирка, мытье полов и прочие мелкие домашние дела. И все — на себе, и картошка, и дрова, и вода — все нужно таскать. И все нужно рассчитывать и страшно экономить. И несмотря на то, что все делается своими руками, обходится это "все" очень дорого. Сейчас я больше всего на свете хотела бы жить в гостинице, желательно в Москве, ходить в музеи, в гости и просто по улицам. Я даже во сне всегда вижу город, города, в которых не бывала, но во сне узнаю, а сельская местность, слава Богу, достаточно надоедает наяву, чтобы еще сниться.

Но в конце концов получился у нас славный маленький домик, белый снаружи и внутри, чистенький и даже уютный, когда прихожу с работы, всегда радуюсь тому, что угол — свой, никаких соседей и хозяев, тихо, и кругом — просторный берег и во все три окошка видна большая, пока еще сравнительно спокойная река.

Были в лесу несколько раз, собрали довольно много грибов, насолили, намариновали, засушили. Варенья сварили три банки, можно было бы хоть три ведра, ягод достаточно, но сахар дорог. Ягоды здесь — черника, голубика, есть где-то брусника и морошка, но мест мы не знаем, а слишком углубляться в тайгу боимся, каждое лето кто-ниб. пропадает, в этом году, например, заблудилась теща начальника милиции, ее искали и пешком, и самолетами, и так и не нашли.

Домик наш — самый крайний на берегу, под крутым обрывом. Слева есть соседи метров за 300, живут в землянке, справа — никого. Однажды ночью было очень страшно, нас разбудил отчаянный стук, сопровождавшийся отчаянным же матом. Мы не открывали — стук продолжался, потом ночной гость стал ломать дверь, сорвал крючок и ввалился в сени. Я, собрав остатки храбрости, заперла приятельницу в комнате, а сама вышла в сени. Нашла там вдребезги пьяного лейтенанта в мыльной пене и в сметане — когда он ворвался в сени, на него свалилась банка кислого молока, а сам он попал в ведро с мыльной пеной, оставшейся от стирки. На мои негодующие вопросы он ответил, что, по его мнению, он находится в горах на границе, где каждый житель рад приютить и обогреть озябшего пограничника. Я сказала, что кое-какие границы он, несомненно, перешел, и предложила ему отвести его в такой дом, где его приютят, обогреют и примут с расprostертыми объятями. Сперва лейтенант слегка упирался, считая наиболее подходя-

щим местом для отдыха с обогревом именно наш дом, но потом сдался, я взяла его под ручку и с трудом дотащила до... милиции, где сдала очень удивленному именно моим (у меня скорбная репутация женщины порядочной и одинокой!) появлением дежурному. И правда, одета я была легкомысленно — тапочки на босу ногу, юбка и телогрейка, распахнутая на минимуме белья. И под руку со мной мыльно-сметанный лейтенант. Но такие случаи здесь очень редки, так что, надеюсь, этот лейтенант был первым и последним.

Сейчас мучаюсь с дровами — на зиму нужно 20—25 куб., а у нас — только 5. Купили 5 кулей картошки.

Немножко очухиваюсь только в постели, когда, зажегши лампу, в полнейшей тишине перечитываю самые чудесные места твоего "Фауста" и еще кое-какие переводы. Ты прав — общий уровень переводов этого сборника — высок, и Гете освобожден от тяжело-весности переводов прошлого, а также от чужих вариаций на его тему. Какое счастье, что я совершенно лишена чувства зависти и ревности, и совсем беспристрастно сознаю, насколько я отстала от всяких хороших дел, в частности и от стихотворных переводов. До того заржавела, что сейчас ничего путного не смогла бы сделать, обеднел до ужаса мой словарь. Тем более радуюсь именно богатству словаря этих стихотворных переводов.

Моей приятельнице случайно прислали среди всяких стареньких носильных вещей маленький томик с золотым обрезом — Виньи "Стекло", по-французски. Вещь написана в 1823 г., а не перечитывала я ее уже больше двадцати лет. И сейчас перечла как бы заново, вспомнила маму, очень любившую эту книгу, рассказывающую о судьбах трех поэтов разных эпох, — Жильбера, Четтертона и Шенье. Помнишь ли ты ее? Давно ли читал? Меня немного раздражал разноречивой

между темой и языком — язык какой-то чересчур "барокко" и весь в жестах, если можно так сказать. Но как страшно было быть настоящим поэтом в те далекие времена! И о своих современниках, и о своих предшественниках Виньи, пожалуй, справедливо говорит, что "Le Poète a une malédiction sur sa vie et une bénédiction sur son nom", но зато немало и дикого говорит с нашей сегодняшней точки зрения.

Итак, очень буду ждать хотя бы открыточки. Ты пойми, уже треугольники гусей улетают на юг, и такая неумолимая зима впереди, а тут еще и писем нет.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

Ты знаешь, сегодня день рожденья папы и мамы.

30 сент. 1950

Дорогая моя Аля! Я получил от тебя письмо, полное души и ума, про лес, про твою маму, про мои переводы. Я всегда кому-нибудь показываю твои письма, хвастаю ими, так они хороши.

Но зато я тебе пишу в последнее время пустые, бездушные, торопливые записки, лишенные содержания, просто, чтобы ты не думала, что я забыл тебя, и не беспокоилась.

Отчего, кроме недостатка времени, я стал в последнее время так тих и односложен, этого не объяснишь [. . .].*

* Половина листка оторвана и сожжена мною тогда же, в 1950, или позже, в 1953 г. — А. Э.

. . . неумелое выражение моей сущности, отнюдь не мрачной, а ясной и радостной, наводит на них тень и заражает превратно понятыми настроениями, что людям, которым и без того трудно, вредно слушать меня.

Может быть, это приступ мнительности, но вот именно я стал сдерживаться, чтобы как-нибудь не огорчить тебя большими посланиями. Прости меня.

Наверно, перед тем, как ты написала мне о Фаусте, тебе попался ругательный отзыв о переводе в "Новом мире". Не тревожься. Все это пустяки...

7 октября 1950

Дорогой Борис! Как я обрадовалась, увидев наконец твой почерк на конверте! В самом деле, твое такое долгое молчание все время грызло и глодало меня исподволь, я очень тревожилась, сама не знаю почему. Наверное потому, что вся сумма тревоги, отпущенная мне по небесной смете при моем рождении на всех моих близких, родных и знакомых, расходуется мною теперь на 2—3 человека. Тревог больше, чем людей. Я не жду от тебя никаких "обстоятельных" писем во-первых потому, что не избалована тобой на этот счет, а во-вторых знаю и понимаю, насколько ты занят. Но я считаю, что две немногословных открытки в месяц не повредили бы ни Гете, ни Шекспиру, а мне определенно были бы на пользу, я бы знала основное — что ты жив и здоров, а об остальном, при моей великолепной тройной интуиции (врожденной, наследственной и благоприобретенной) — догадывалась бы.

У нас с 28 сентября зима вовсю, началась она в этом году на 10 дней позже, чем в прошлом, когда снег выпал как раз в день моего рождения. Уже валенки, платки и все на свете, вся зимняя косолапость. Все побелело, помертвело, затихло, но пароходы еще ходят, сегодня пришел предпоследний в этом году. Две нестерпимых вещи — когда гуси улетают и последний пароход уходит. Гусей уже пережила — летят треугольником, как фронтовое письмо, перекликаются скрипучими, тревожными голосами, душу выматывающими. А какое это чудесное выражение — "душу выматывать", ведь так оно и есть — летят гуси, и последний тянет в клюве ниточку из того клубка, что у меня в груди. О, нить Ариадны! В лесу сразу тихо и просторно — сколько же места занимает листва! Листва — это поэзия, литература, а сегодняшней лес — голые факты. Правда, деревья стоят голые, как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребенок, попавший в заросли розог. Ходила на днях за вениками, наломала — и скорей домой, жутко как-то. И белзна кругом ослепительная. Природа сделала белую страницу из своего прошлого, чтобы весной начать совершенно новую биографию. Ей можно. А главное, когда шла в лес, то навстречу мне попался человек, про которого я точно знала, что он умер в прошлом году, прошел мимо и поздоровался. Я до сих пор так и не поняла, он ли это был, или кто-то похожий, если он, значит — живой, если нет — то похожий, и тоже живой.

Здоровье ничего, только сердцу тяжело. Это такой климат — еще севернее — еще тяжелее. На пригорок поднимаешься, точно на какой-ниб. пик, а ведро воды, кажется, весит вдвое больше положенного — вернее, налитого. Лиля прислала мне какое-то чудодейственное сердечное лекарство, от которого пахнет камфарой и нафталином, и еще чем-то против моли. Я не

умею отсчитывать капли, и поэтому глотаю, как придется, веря, что помогает, если не само средство, так то чувство, с которым Лиля посылала его. А вообще живется не совсем блестяще, т. к. моя приятельница, с которой я живу вместе, больше не работает, и мы неожиданно остались с моей половинной ставкой pour tout moyen d'existence, т. е. 225 р. в месяц на двоих, с работой же очень трудно, т. к. на физическую мы обе почти не способны, а об "умственной" и мечтать не приходится. Как ни тяжелы мои условия работы, как ни непрочна сама работа, я буквально каждый день и час сознаю, насколько счастлива, что есть хоть это. Кроме того, я очень люблю всякие наши праздники и даты, и вся моя жизнь здесь состоит из постоянной подготовки к ним.

Хорошо, что пока мы обе работали, успели подготовить наше жилье к зиме, обзавестись всем самым необходимым — у нас есть два топчана, три табуретки, два стола (из которых один мой собственный, рабочий), есть посуда, ведра и т. д. Есть 5 мешков картошки, полбочки капусты насолили (здесь у нас не растет, привезли откуда-то), кроме того насолили и намариновали грибов, и засушили тоже, и сварили 2 банки варенья, так что есть чем зиму начать. Только вот с дровами плохо, смогли запасти совсем немного, а нужно около 20 кубометров. Тебе, наверное, ужасно нудно читать всю эту хозяйственную ахинею, но я никак не могу удержаться, чтобы не написать, это вроде болезни — так некоторые всем досаждают какой-ниб. блуждающей почкой или язвой, думая, что другим безумно интересно.

Статьи о "Фаусте" я не читала, а только какой-то отклик на нее в "Литературной газете", писала тебе об этом.

Дорогой Борис, если бы ты только знал, как мне хочется домой, как мне ужасно тоскливо бывает —

выйдешь наружу, тишина, как будто бы уши ватой заткнуты, и такая даль от всех и от всего! Возможно, полюбила бы я и эту даль, м. б. и сама выбрала бы ее — с а м а! Когда отсюда уходит солнце, я делаюсь совсем малодушной. Наверное, просто боюсь темноты!

Крепко тебя целую, пиши открытки, очень буду ждать. Если за лето написал что-ниб. свое, пришли, пожалуйста, каждая твоя строчка — радость.

Твоя Аля.

Недавно удалось достать "Госпожу Бовари" — я очень люблю ее, а ты? Замечательная вещь, не хуже "Анны Карениной". А "Саламбо" напоминает музей восковых фигур — несмотря на все страсти. Да, ты знаешь, есть еще один Пастернак, поэт, кажется литовский или еще какой-то, читала его стихи в Литер. газете.

10 октября 1950

Дорогой Борис! Сегодня получила твое второе, почти вслед за первым, письмо, и хочется сейчас же откликнуться, хоть немного, сколько позволит время, вернее — отсутствие его. Твое письмо очень тронуло и согрело меня, больше — зарядило какой-то внутренней энергией, все реже и реже посещающей меня. Спасибо тебе за него. Нет, я не читала отзыва в "Новом мире", а только отзыв на отзыв в "Литературной газете". Я и этим слабым отголоском той статьи была очень огорчена, не потому, что "выругали" то, что мне

нравится, а оттого, что у критика создано впечатление, по моему мнению, настолько же ложное, насколько "научно-обоснованное", я не поверила в ее, критика и критики, искренность, что меня и огорчило главным образом. В твоём "Фаусте" преобладает свет и ясность, несмотря на все чертовщины, и столько жизни и жизненности, даже здравого смысла, что все загробное и потустороннее тускнеет при соприкосновении, даже, несмотря на перевод, чуть отдаёт бутафорией. (Занятная это, между прочим, вещь — этот самый гетевский здравый смысл, в конце концов, всюду и везде, преодолевающий стиль, дух времени, моду, фантазию, размах. Что-то в нём есть страшно *terre-à-terre*, и его "бог деталей" с деталями вместе взятый — очень хозяйственный дядя, все детали ладно пригнаны и добротны, а остальное — украшение, позолота. Так чувствуется, что именно в "Германе и Дороте" он у себя дома, да и в "Страданиях молодого Вертера", там, где ещё только дети и бутерброды, и самоубийством ещё не пахнет. И фаустовские чертовщины, если разобраться, и не подземны, и не надземны, и сами духи в свободное от служебных дел время питаются здоровой немецкой пищей. Между прочим, не люблю я Маргариту его, она слабее всех остальных). Да, так вот, весь этот гетевский здравый смысл, жизненность его, грубоватый реализм даже в нереальном, я впервые узнала именно из твоего перевода (а читала их до этого немало, все были малокровными и многословными), из чего совершенно справедливо заключаю, что именно тебе удалось донести до читателя "передовые идеи" Гете, и что критик из "Нового мира" плохо вчитался, и ещё хуже того написал.

Ты, конечно, ужасно неправ, говоря, о том, что "не приносишь счастья своим друзьям" и т.д. И, конечно, это просто мнительность (сверх!) и сверхделикат-

ность по отношению к друзьям. Ты и в горе остаешься светлым и добрым, именно это в твоих письмах (и в тебе самом!) дает ту зарядку, когда читаешь их, о которой говорила выше. Трудно это все выразить, определить, мысли мои, от недостатка общения с людьми, от невозможности писать, ужасно расплывчатые, и, как чувства, плохо поддаются описанию. Но мне думается так — пройдет время, и внуки теперешних критиков будут писать об оптимистичности твоего творчества, им легко будет доказать ее, это будет бесспорным, как бесспорна сейчас возникающая из раскопок древняя Греция. Утешительно ли это, когда живешь и дышишь именно сегодня — не знаю, но знаю, что это удел избранных, бесспорный и вечный, как звездное небо. Почему я так тянусь к тебе, так глубоко радуюсь твоим письмам, так чувствую себя самой собой, когда думаю о тебе и пишу тебе? Не только потому, что ты — старый друг, что твое имя навсегда связано у меня с маминым, что я люблю тебя за них и сама — и еще и оттого, что я, ничего не создавшая, зрячая и слышащая, но немая, ничего никогда не сотворившая, тянусь к тебе, как к творцу, тянусь к твоему земному (единственному, в которое верю, наилучшему, ибо — дело рук человеческих) — бессмертию. Очень я люблю и уважаю тебя и за то, что ты не зарыл свой талант в землю, и за то, что ты не сделал ему мичуринской прививки, и вообще за все на свете. Прости меня за мою проклятую бессвязность и за всю бестолковость, с которой я пытаюсь высказать то, что так стройно складывается в голове! И не думай, что, как ты написал мне однажды, я пытаюсь "завязать роман на расстоянии" (написал-то ты не так, но смысл был приблизительно таков). Нет, это все вне всяких романов, как окружающая меня сейчас северная ночь, как волочащий льдины на своем стальном хребте

Енисей, как тисками охватившее холодную землю небо, пронзенное звездами.

А все-таки трудно живется, честное слово. Жизнь как-то изнашивается, понимаешь, не столько я сама, как именно моя жизнь, так должно быть или перед смертью, или накануне какой-то другой жизни. Мне просто снится иногда, что я вновь в Москве, и никакой иной жизни мне не хотелось бы. Это — единственный город, к которому привязано мое сердце, остальные в памяти, пусть я к ним несправедлива, — как альбомы с открытками. От Москвы начинается мое чувство родины, и, описав огромный круг по всему Советскому Союзу, возвращается к ней же. Так у меня было и с мамой, жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится — от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого (от нее же) до чувства сознательного, почти что, после всего пережитого, на равных правах (с нею же).

Сегодня вечером пришел последний пароход — по темной реке, по которой идет "шуга" — легкий светлый ледок, из которого через несколько дней сольется, спаяется зимний панцирь, противного цвета свежемороженой рыбы. Славный нарядный пароходик, похожий на те, что ходят по Москва-реке, шел, расталкивая льдины, везя последних пассажиров, последние грузы — до следующей весны. Коротенький промежуток от зимы до зимы, небольшой скачок времени со льдины на льдину, неужели же так оно и будет до конца дней!

Скоро начинается серия зимних праздников, я ужасно много работаю, устала сверх всякой меры, зарабатываю обидные гроши, и, несмотря на это последнее обстоятельство, держу дома двух щенков с их мамашей и кота. Кот никаких мышей не ловит, щенки спят в ящике с песком и гадят везде кроме, что

вносит некоторое разнообразие в мое весьма монотонное существование. У нас 1 ч. ночи, у вас — только 9 ч. вечера.

Целую тебя.

Твоя Аля.

Если возможно, пришли что-ниб. новое твое, давно ничего не присылал!

8 ноября 1950

Дорогой Борис! Спасибо тебе, я все получила, и, как всегда, очень вовремя. Не могла сразу отозваться из-за предпраздничных дел — работала ужасно много и ужасно непрерывно весь октябрь и начало ноября, и сегодня, в первый день, когда можно слегка очухаться, чувствую себя неуверенно и расхлябанно, как после болезни. Большая есть прелесть в донельзя заваленных работой днях, когда все заданное понемногу поддается твоему упорству, прелесть меньшая, чем в днях сплошного отдыха, когда сам поддаешься свободному времени, книгам, природе. Только теперь таких дней почти совсем не бывает, вечно угнетает сознание не-деланного и неоконченного. Раньше я была настолько менее щепетильна на этот счет, и лучше было, легче.

Холода у нас нестерпимые, вчера, в день 33-й годовщины Октября, было 52° мороза, так что пришлось отменить митинг и то подобие демонстрации, что бывает у нас в праздничные дни, когда позволяет погода. Мне было очень жаль, потому что нигде после Москвы я так не чувствую и не ощущаю праздников, как здесь, именно потому, что здесь так глухо и далеко, снежно

и тихо, да и вообще в Москве праздновать немудрено, Красная площадь уже сама по себе праздник, ей отроду идут сборища и знамена, здесь же красные полотнища лозунгов, флагов, знамен радуют как-то особо, как свет в окошке, признак жилья, как признак того, что не только труд есть на свете, а еще и общая радость, пусть ограниченная сугробами!

И так вот все время с середины октября — морозы, морозы, морозы. Просыпаемся в морозном тумане, сквозь который, на небольшом расстоянии друг от друга, еле просвечивают солнце с луной и еще две-три огромных, неподвижных, как в Вифлееме, звезды. Дышать невозможно, глотаешь не воздух, а какой-то нездешний сплав, дырявящий грудь. Все звенит — и поленья дров, которые, обжигаясь от мороза, хватаешь в охапку, и снег под ногами, и далекий собачий лай, и собственное дыхание, и дым, вылетающий из трубы. Туман не рассеивается и днем, только светлеет, вечером же опять то же самое, солнце, луна и три ярких звезды, и опять то же самое, только без солнца. Через несколько дней, наверное, начнется пурга, вместо знакомых, скрипучих, как свежая капуста под ножом, тропинок, встанут горбатые, с острым хребтом, сугробы, и наш домик совсем увязнет в снегу. Несмотря на такие холода, Енисей еще не совсем скрылся подо льдом, еще кое-где видна живая вода, почему-то совсем золотая под серебром льда, так что похоже на оклад с огромного образа. И вот эти кусочки фольги — воды — дымятся, от них идет пар, сливаясь с туманом. Вообще — красиво, только трудно терпеть такой холод.

Тунгуска же стоит давно и прочно, и надолго. Через нее возят сено, накошенное на том берегу и оставленное до морозов, возят дрова, и то и другое чаще всего на собаках. Лайки уже давно обросли зимней непроницаемой и непродуваемой шерстью, и сами похожи на

возы с сеном, которые таскают. Спят они на снегу, пряча черный нос в белый хвост, когда проходишь мимо, лениво открывают карий круглый глаз и опять дремлют. Они никогда не кусаются и, несмотря на свое название, очень редко лают. У нас тоже есть собачонка, только не настоящая северянка, а так, вроде дворняжки. Шерсть у нее не такая густая, как нужно бы здесь, поэтому она живет вместе с нами дома, но сторожит хорошо — лает и даже кусается. Есть у нас и сибирский кот Роман, которому живется неплохо, несмотря на то, что единственная одолевавшая нас мышь поймана и съедена им уже больше двух месяцев тому назад. Вместо мышей он ловит пса за хвост и всякие мои бумажки и рисунки гоняет по комнате. Недавно было у нас три щенка, дворняжкины дети, но так как они вносили чересчур большое оживление в нашу тихую жизнь, мы их благополучно пристроили в хорошие семейные дома и теперь от них и без них отдыхаем.

Ничего мне не удалось ни сделать, ни прочесть за этот предпраздничный месяц. С самого раннего утра и до самой поздней ночи я писала лозунги, и еще и еще лозунги, оформляла стенные газеты и доски почета, и в конце концов выучила наизусть все существующие призывы и проценты выполнения плана по рыбодобыче и пушнозаготовкам, все полагающиеся цитаты и т. д. Около двух недель болела — держалась высокая температура, но работать все равно нужно было, что с нею, что без, как угодно. В конце концов прошло, как и пришло, само собой. В этом году что-то никто меня не ругал и ничего не заставляли переделывать, сама не знаю почему. Обычно перед праздниками всегда ругают, торопят и всем недовольны, и не потому что "плохо", а потому что "не нравится", причем одному не нравится то, а другому это, и трудно бывает рабо-

тать в таких условиях. Вообще нелегко. Теперь с 1-го ноября я буду получать полную ставку, а то уже много месяцев получала только полставки. Так что будет полегче, я очень довольна, хоть и полная моя ставка не ахти, но все же хорошо. На присланное тобой я купила дров и наняла двух пильщиков, которые дрова распилят, расколят и сложат, хоть и не тяжелая это работа, но очень одолевает мороз и не хочется делать самой, когда есть возможность. И еще у меня остались деньги в запас на всякие текущие нужды и дела. Главное, что удалось купить дров, без них здесь в самом деле, в самом буквальном смысле слова не проживешь. Спасибо тебе, дорогой мой, за все данное тобой тепло. Как оно облегчает жизнь!

А сейчас я перечитываю — с неизменным удовольствием — "Тома Сойера", хотя с самого детства помню эту книгу не только наизусть, но даже в разных вариантах разных переводов наизусть. Так, например, в той книжке, что была у меня в детстве, в воскресной школе девочка декламирует стишки "У Мери был ягненок", а в переводе 1949 г. "У Мери был барашек", одно и то же, а ведь ягненок лучше, ибо барашек что-то съедобное, а ягненок явно "воскресная школа".

Нам, Туруханску, все же повезло благодаря ранней зиме: последний пароход вез еще дальше на север яблоки и лук, а сгрузил у нас, т. к. боялся не дойти до последней пристани (совсем по-библейски звучит!), и поэтому впервые за долгие годы продавался здесь настоящий лук и настоящие живые яблоки!

В нашем маленьком домике сейчас хорошо, тепло и уютно, я просто счастлива тем, что есть свой угол, без ведьм и домовых в лице квартирных хозяев и прочих соседей. Дров есть около 10 куб., т.е. половина зимнего запаса, есть картошка и даже кислая капуста, и есть

грибы, соленые, сушеные и маринованные, и даже немного черничного варенья есть. Так что по сравнению с прошлой зимой все, тьфу-тьфу, не сглазить, лучше, и все благодаря тебе. Наша летняя возня по ремонту и утеплению домика оказалась весьма полезной, т. к. пока что нигде не дует и не промерзает, даже в пятидесятиградусные морозы. Тебе, наверное, ужасно скучно читать все эти хозяйственные подробности, я же пишу просто с увлечением, и мне кажется очень интересной тема "покорения Севера", даже в таких миниатюрных масштабах!

Очень прошу тебя, когда будет возможно, пришли что-ниб. свое из написанного и переведенного.

Крепко целую тебя.

Твоя Аля.

5 дек. 1950

Аля родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов, подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампукой. Вообще говоря, это труд решительно никому не нужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал для того, чтобы записать чем-нибудь эти полстраницы. То, что я хочу сказать тебе, выразимо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь, и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже не пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством!

Крепко тебя целую.

Твой Б.

6 декабря 1950

Дорогой мой Борис! Трудно преодолевают наши с тобой весточки все эти снега и пространства — нет

писем ни к тебе, ни от тебя. Ты, конечно, беспредельно занят, меня тоже одолевает работа — чуть ли не больше, чем я ее. Изо дня в день в спешке по мелочам, без отдыха, с головой, загроможденной всякими неизбежными недоделками и переделками, даже сны из мелочей, как разрозненное лото или головоломка. Оказывается, "бог деталей" — свирепое существо, и я чувствую себя очень несчастной потому, что из мелочей, которым отдаю все свое время, а, значит, и всю себя, ничего цельного, целого не получается. Все какие-то черепки. Правда, месяцы сейчас идут самые праздничные, значит — самая работа. Уже в январе будет полегче. Эта зима совсем не похожа на предыдущую. Тогда было сплошь морозно-нестерпимо! а нынче — пурга, бураны, вихри, все в однообразном движении, за ночь домик наш обрастает сугробами выше крыши, вместо вчерашних тропинок — гора снега, вместо вчерашних снежных гор — какие-то пролежни, голая земля с попытками прошлогодней травы — ветром сдуло. Кажется, совсем рядом, где-ниб. на полкусе пустили огромный пропеллер и — вот-вот полетим! Потом небольшая передышка в 2—3 дня — ясных, как настоящий божий день, все на местах, все бесспорно и прочно — движутся по белому фону только люди, лошади и собаки. И опять все вверх тормашками, шиворот-навыворот — подул ветер "с Подкаменной" ("Подкаменная Тунгуска" — это река) — опять пурга. И все это вместе взятое — великолепно. Великолепны небеса летные и нелетные, звездные и забитые доотказу облаками, великолепна земля — то прочно звенящая под ногами, то полная снежных подвохов, чудесен ветер, тот самый, пушкинский, "вихри снежные крутя". А чудесно это все главным образом потому, что в нашем маленьком домике очень тепло и уютно, есть дрова под навесом, и стихии остаются по ту сторону —

домика, дров и навеса. В прошлом же году стихии очень легко забирались в дырявую хату, и поэтому любовалась я ими гораздо меньше, чем теперь.

Завтра мы ждем приезда — вернее прилета — нашего кандидата в депутаты краевого совета, я написала ужасно много лозунгов, и к этому дню в частности, и к предвыборной кампании вообще. Уже по всему городу собирают всякие колокольчики и бубенчики, и опять будет чудесно, как в прошлом году — настоящий праздник. Нигде так не чувствуешь праздник, как в Сибири, не знаю почему. Вероятно, тут люди проще и непосредственнее, и самый настоящий снег, и будни скучнее. Ну, ты представляешь себе — среди снежных будней вдруг тройки с бубенцами, лозунги, флаги, знамена, крики и клики, и все это в самом деле, не в кино.

А несколько дней тому назад к нам приехали тунгусы на нескольких оленьих упряжках и разошлись по своим делам, осталась с оленями только миловидная плосколицая женщина с темной матовой кожей и глазами нежными и блестящими, как у оленя, была она в вышитых бисером и украшенных цветными лоскутками меховых мягких сапожках-торбазах и в длинной оленьей шубе с капюшоном и без застежек, прямо через голову надевается. Это было как в сказке — лес оленьих рогов над прелестными палевыми оленьими мордами, и сами олени, светлые, в коричневатозолотистых пятнах, и один-единственный среди них совершенно белый, прямо серебряный, волшебный, свадебный олень.

В нашем клубе как раз к зимнему сезону не оказалось художественного руководителя, и мне разрешили организовать драмкружок "в плане общественной нагрузки". Я поставила два скетча, которые прошли неплохо, а сейчас мы взялись за "Лекаря поневоле".

С первых же шагов меня постигла неудача — ребята наотрез отказались выступать в коротких штанах и чулках ("просмеют!") и предложили мне на выбор — брюки штатские, военные, флотские и летные с голубой полоской — сапоги, ботинки, меховые унты или валенки. Мольер пошевелился в гробу, поднялась очередная пурга, но увы, ребята пока что непреклонны — я очень тревожусь за оформление спектакля!

Устала я ужасно, сна мне не хватает, а, казалось бы, когда же отсыпаться, как не в декабрьские ночи? День сейчас такой коротенький, но все равно ослепительный, как вспышка молнии. А летом спать совсем нельзя, слишком светло, никто не спит.

У меня есть собака и кот, когда я прибегаю в обеденный перерыв, меня встречают два умильных существа — одно лежит на пороге, как полагается сторожу, второе вылезает из печки, как домовой. Вообще же никто у меня не бывает и я никуда не хожу, некогда и не хочется. Живу я, видимо, одиноко, но одиночество никогда меня не тяготит и тяготить не будет, пока трудоспособна. А нетрудоспособной и жить не буду. Так все ничего, только сердце с климатом не ладит — авось привыкнет.

А по радио передают, что в Москве все + 2° да — 2°, завидую и смешно, вот так зима! Вообще же по радио нам 4 раза передают урок гимнастики — из разных городов Советского Союза, потом много всякого для младшего, среднего и старшего школьного возраста, и все московское кончается для нас в 8 ч. вечера по московскому времени — тогда у нас полночь. Да и не только московское, а вообще радиоузел спать ложится.

Прости за всю эту чушь.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

12 февраля 1951

Дорогой мой Борис! Почему ты совсем ничего не пишешь (имею в виду мне)? Я знаю, что времени не хватает, на собственном опыте знаю, но от этого не легче. Я соскучилась по твоим письмам, даже по одному виду конвертов, надписанных почерком настолько крылатым, что кажется — письма твои преодолевают все эти пространства без помощи каких бы то ни было "авио". У меня же с письмами получается так: раньше у меня было чувство, что я ими радую тех, кому пишу, таким образом в писании их заключалась частица долга, вечный стимул. Теперь же, когда пишу их, то радую главным образом самое себя — это моя отдушина, мой "глазок" в мир. Долг перешел в другое — в работу, в дрова, в хозяйственные дела, и письма, ставшие только моим удовольствием и развлечением, на цыпочках отошли на последнее место, понимаешь? У меня еще ни разу не было случая, чтобы я не успела написать лозунг, почистить картошку, наколоть дров, вымыть пол, а вот письма — не успеваю. Я, конечно, пишу это тебе вовсе не для того, чтобы вызвать твои опровержения, вроде того, что мол мои весточки безумно радуют тебя, нет, говорю об этом потому, что оно действительно так и есть на самом деле, если вдуматься. Да и не вдумываясь — тоже.

Эта зима показалась мне просто ужасной, несмотря на то, что довольно бодро борюсь с ней и одолеваю ее. М. б. и предыдущая была не лучше, но я сгоряча ее не раскусила как следует, или же просто с каждым годом выдыхаюсь все более, но только осточертели эти пятидесятиградусные морозы, метели, душу и тело леденящие капризы сумасшедшей природы и погоды. Каждый шаг, каждый вздох — борьба со стихиями, нет того, чтобы просто пробежаться или просто подышать!

И плюс ко всему — темнота, а я ее отроду терпеть не могу, она ужасно угнетающе действует, хоть и прихорашивается звездами, северным сиянием и прочими фантазмагориями. Мрак и холод — а православные-то дурни считают, что грешники обязательно должны жариться, кипеть, и еще вдобавок лизать что-то горячее. Впрочем, грешницей себя не считаю, чистилища — зала ожиданий — не признаю, а если праведница, то по моему местонахождению рай, выходит, очень прохладная штука! А в общем, ничего не скажешь — красиво, великолепно задумано и великолепно осуществлено творцом, только вот насчет освещения и отопления плохо позаботился. Кстати, этот старик так-таки, по-моему, и не довел до конца ни одного своего хорошего начинания.

Чудесным контрастом зиме, черной и ледяной, — наш домик, маленький, теплый и милый, как живое существо. Он стоит под горой, под защитой от ветров, а кругом такая безбрежность, что почти — небытие. Ни рек, ни берегов, ни неба, все едино в пургу, в мороз, в ночи. А что будет весной, когда тающий снег пойдет потоками под обрыв, к нам, навстречу же придет Енисей? Я надеюсь, что он будет плескаться у порога, а потом тихонечко отойдет вспять, но может быть и иначе — огромные глыбы льда выворачивает он на берега весной, глыбы значительно более увесистые, чем наш домик!

Работаю по-прежнему много, по-прежнему устаю и как-то вся от этой усталости тускнею. Здоровье мое не по климату и климат не по здоровью, но все же скриплю пока что довольно успешно. Во сне вижу только Москву и только города, наяву — только сельскую местность. Читайте мало и все какие-то неожиданные открытия делаю. Перечла Бальзака и в ужас пришла, фальшивка, дешевка, но, как всегда у французов,

с проблесками настоящего. Вот они, тысячи тонн словесной руды! А ранний Алексей Толстой — сплошной сценарий для немого кино! А вечный — будь он ранним или поздним — Лев Толстой! Вообще пришла к выводу, что писатели, самые лучшие, самые настоящие, — в большинстве случаев очень злые люди. Дар наблюдательности — злой дар. Тургеневские герои, за исключением нескольких девичьих образов, — написаны так, будто у автора личные счеты с каждым из них. А Лев Толстой-то какой злой! И вообще — чем лучше, тем злее. Добрые только Горький да Роллан, Чехов же был бы злым, да жалко людей огорчать, читающих и написанных. Прости, дорогой Борис, за всю эту ахинею — пишу и на часы поглядываю, пора кончать, еще ничего не начав толком, и опять Марфа тянет Марию за край одежды и "ставит ей на вид" все неизбывные хозяйственные недоделки. Так как я на старости лет начинаю забывать все на свете ("слабеет разум, Таня, а то, бывало, я востра". . .), то сейчас толком и не знаю, которая из них была "домохозяйкой". У мамы об этом неплохо сказано: "обеих бабок я вышла внучка, чернорабочий и белоручка".

Крепко тебя целую, жду вестей.

Твоя Аля.

5 марта 1951

Дорогой Борис! Очень обрадована твоим письмом, приободрена и внутренне собрана им, правда! Во всех твоих письмах, даже самых наспех написанных, даже самых гриппозных, столько жизнеутверждающего на-

чала, столько неведомого душевного витамина, что они действуют на меня вроде аккумуляторов, я ими заряжаюсь — и дальше живу.

Не знаю почему, но эта зима дается мне труднее предыдущей, хотя живется несравненно легче — домик теплый и "свой собственный", значит — по-своему уютный, не лишенный андерсеновской и диккенсовской прелести, которая еще более заметна благодаря контрасту с окружающей природой, ее размаху, суровости и титаническому однообразию ее проявлений. Снег, ветер, мороз, пурга, и опять сначала. И вот меня ужасно утомляет это постоянное единоборство со стихиями, или бушующими, или замирающими в почти нестерпимых морозах до нового неприятного пробуждения. Я просто физически устаю от продолжительности этой зимы, от ее ослиного упрямства, от ее непреоборимого равнодушия. С одной стороны, я уже настолько привыкла к ней, что дикая ее красота перестает на меня действовать, а с другой, настолько не отвыкла от всего остального, что не могу не чувствовать ее безобразия.

Одним словом, как говорят французы, шутки хороши только короткие, также и зимы.

Но вдруг температура поднялась до $-15^{\circ} - 20^{\circ}$, и всем нам кажется — весна! Мы расстегиваем воротники, дышим полной грудью, оживаем, щурясь от солнца, озираем свои владения — голубовато-серые обветренные деревянные домики под белыми лохматыми ушанками крыш, твердо-утоптаные дороги, дорожки и тропинки, полоску тайги, отделяющую небо от земли, кручи и скаты енисейских берегов, и, господи, до чего же все хорошо и красиво! А потом опять задувает отвратительный северный ветер и начисто сбивает все наше благодущие...

Март же здесь такой, что даже кошки его не считают своим месяцем — никаких прогулок по крышам, сидят на печках, а то и внутри, жмутся к теплу и ни о чем таком не думают.

Но вот звезды здесь поразительные. Вчера возвращалась поздно с работы домой, было сравнительно тепло и очень тихо, чудная звездная ночь поглотила меня, растворила меня в себе, выключила из меня все, кроме способности воспринимать, ощущать ее. Я, казалось, спокойно вошла в великое движение светил, и вселенная мне стала понятной и своей изнутри, а не снаружи, не как, скажем, человеческий организм хирургу, а как весь организм какой-нибудь части его, понимаешь? И тьмы не стало, не то что появился свет, нет, просто тьма оказалась состоящей из неисчислимого количества световых точек, т. е. "тьма" светил, количество их, и давало иллюзию темноты земному моему зрению.

Нет, это, конечно, все не то и не так. Рассказывать о звездах дано только музыке и очень немногим поэтам. Да и что говорить о них — они о себе лучше скажут!

— Нет, все же это было чудесно, эта ночь, эти звезды, и доносящийся с земли мирный и мерный звук движка, дающего электроэнергию соседнему колхозу!

Кончаю, страшно перечить, а поэтому не буду. Крепко тебя целую, желаю тебе сил — физических, духовных, творческих, а остальное — приложится! Пиши!

Твоя Аля.

О деньгах не беспокойся, во-первых ты мне ничего не обещал, во-вторых, когда бывает очень трудно, я сама прошу, а не прошу — значит не трудно. Целую.

2 апреля 1951

Дорогой мой Борис, спасибо тебе. Теперь я могу безбоязненно встретить такую всесторонне-трудную в здешних условиях весну. Весна здесь — это подготовка к будущей зиме, сплав леса, ремонт жилья и прочие тяжести (это только в плане своем, домашнем, не считая текущей работы и всяческих общественных нагрузок). И ты, родной мой, всегда тут как тут, в любое тяжелое для меня время, и я не чувствую себя одинокой в своей постоянной борьбе с постоянными бытовыми стихиями.

Ася вернулась домой, операции ей не делали, она прошла длительный курс лечения, зрение несколько улучшилось, но общее состояние — нет, а как раз от общего состояния и зависит главным образом ее зрение. В июне-июле она ждет к себе невестку с детьми, Андрей¹¹ же видимо подпишет договор на несколько лет в отъезд, как сама она работала в ДВК. Ася с одной стороны рада их приезду, с другой — беспокоится, сможет ли Нина¹² устроиться там на работу, сможет ли Ася присматривать за младшей девочкой (будет ли в состоянии), и т. д. А главное — у нее большой огород, который она должна будет посадить до приезда Нины, и Ася не представляет себе, как она, при своей теперешней слабости здоровья, сможет справиться с этим делом.

У нас в этом году необычайно ранняя, наверное обманная, весна. Все сразу отсырело, а небо от сырости и тяжести даже как будто бы провисает посередине. А ночи настолько настороженно-тревожные, что, кажется, достаточно какого-ниб. резкого звука — паровозного гудка, скажем, чтобы большой истерикой — ливнями, ветрами, снегопадами, началась настоящая весна. Тут ведь очень тихо, особенно когда утихает

ветер; тихо и просторно, а это действует на нервы не меньше, чем одиночка. Между прочим, к такой тишине я не привыкла, моей тишине всегда аккомпанировал или город, или лес, или море, или, в последние годы, гул человеческих жизней, никогда не раздражавший меня гул голосов. Северное же молчание, особенно в пасмурные дни, беспокоит меня. Жду не дождусь, когда же заговорит эта серая, седая, северная, валамова ослица — природа? (Ты помнишь, как Журавлев¹³ читает "Пиковую даму"? — "Графиня молчала"...)

Боюсь ледохода: река перед самым носом, как бы нас не прихватила, разливаясь!

В апреле, предмайском месяце, у меня будет очень много работы, а я загодя устала. Сердце у меня стало плохое, вместо того чтобы подгонять — тормозит, я его постоянно чувствую, и одно это уже утомляет. Хорошо хоть, что я не задумываюсь ни о смерти, ни о лечении. Слава Богу, некогда. Без работы я, конечно, сошла бы с ума. А так — просто усыхаю и седею помаленьку, утешаю себя тем, что приобретаю окраску окружающей среды. Тут и звери-то белые — лайки, олени, песцы, горностаи. Какие чудесные, кстати, олени! Совсем белых не так много, в основном они такого цвета, как когда снег тает и сквозь него уже земля проглядывает, знаешь? цвета самой ранней весны. Вот за это-то я их и люблю особенно, в самые лютые морозы они все равно весну напоминают.

В первую свою следующую передышку напишу тебе, надеюсь, более толково, эта записочка — только чтобы сказать тебе, что я получила твою весточку, и поблагодарить за нее. Пиши мне и ты, не жди, "когда будет время", его ведь все равно не будет.

Целую тебя.

Твоя Аля.

4 апреля 1951

Дорогой мой Борис! Только что получила твое письмо, и только что отправила свое тебе — т.е. сперва отправила, а потом получила. Спасибо тебе за все доброе, что ты пишешь обо мне и для меня! — Но я — не писательница. Не писательница потому, что не пишу, а не пишу, потому что могу не писать, иначе я подчиняла бы все на свете писанию, а не подчинялась бы сама всему на свете — всяким большим и малым обязанностям. Это во-первых. Во-вторых, я не писательница потому, что никогда не чувствую конца и начала вещи, которую, скажем, хотела бы написать. Никогда не смогла бы, как Чехов, что-то и кого-то выхватить и бросить на полпути, придав этому видимость законченности. Так и барахталась бы в истоках, устьях, потомках и предках, и получилось бы ужасно. Это у меня какая-то ненормальность, которую я сознаю, но отделаться не могу, так у меня и в жизни. Например — знаю, что мама умерла, знаю, как и когда, а чувства к о н ц а ее нет, и это без всякой мистики, без всякой "загробности" — смерть не всегда и не для всякого значит — конец. И то, что она родилась тогда-то, еще не обозначает для меня начала ее судьбы, уже predeterminedной, скажем, встречей ее родителей, таких трагически несхожих, и т. д., понимаешь? Впрочем, я опять говорю что-то не по существу, а около.

Я люблю Чехова. И знаю, что неправда, втайне при этом думая, вернее, чувствуя, что писать рассказы — это то же, что любить кошек и собак за неимением детей.

В-третьих, я не писательница потому, что дико требовательна к себе, до такой степени, что с первых же строк перестаю понимать, "что такое хорошо, что такое плохо", и в поисках лучшего дохожу до бели-

берды самой очевидной, в чем неоднократно убеждалась, набредая на какую-ниб. старую тетрадь с какими-ниб. попытками чего-то.

Не писательница я еще и потому, что, не пройдя необходимого каждому творящему пути — от творчества слабого и подвластного кому-то к творчеству сильному и своему собственному, я не могу позволить себе сейчас, в свои 37 необыкновенных лет, писать слабо, а быть самой собой творчески — не могу, ибо своего собственного (творческого) лица нет. Виденное, слышанное, прожитое, пережитое, воспринятое, понятое еще не дают в руки способов выражения, да и слава Богу, а то писатели поглотили бы читателей!

И еще много есть причин, по которым я не писательница, несмотря на то "яркое и смелое", что, как ты говоришь, иногда оказывается в моих письмах. Слишком мало яркого, и еще меньше смелого и во мне самой, и в любых моих проявлениях, — это не скромность и не эпистолярное кокетство, а правда. Жизнь моя так пошла, и слишком рано, чтобы во мне могло образоваться настоящее смелое и яркое ядро, что-то, на что я могла бы опираться в себе самой. ("Пошла" от "идти", а не от "пошлость", хоть от нее господь миловал!)

Мне очень жаль, что ты не смог ничего написать о себе, из того, что я не знаю и не угадываю. А знаю я тебя очень хорошо. О тебе — мало. Был ли в поликлинике насчет шеи, что тебе сказали, как лечат, помогает ли? У меня, кстати, эти дни она тоже болела ужасно, ни с того, ни с сего, или это твоя боль передалась мне на расстоянии, или это родство шей и их нагрузок, не знаю, во всяком случае у меня уже прошло, само собой.

Ты знаешь, у меня ничего не получается с душевной ясностью и спокойствием — когда плохая погода и

небо низко. Не выношу ни морально, ни физически. Оживаю и успокаиваюсь, когда солнце, а оно тут так редко, хотя день все удлиняется. Как при солнце все осмысленно, прочно, ясно и красиво! И какая без него на земле и на душе тошная, серая кутерьма!

У нас уже несколько дней оттепель, на центральной улице чудесное оживление — мальчишки на коньках, привязанных к валенкам веревочками и прикрученных огрызками карандашей, девушки в стандартных ботах, с прическами second Empire, лайки в зимних грязных шубах, хребтастые коровы в географических пятнах, одним словом — кого-кого только нет! И над всей этой весенней мешаниной плывут не приземляясь торжественные звуки Бетховена (трансляция из Москвы). Хорошо!

Я сейчас достала и перечитываю "Детство и отрочество" Толстого. В последний раз читала (вернее, в первый!) чуть ли не 30 лет тому назад, и все отлично помню, и книгу, и свое восприятие ее. Сейчас, конечно, читается иначе, и, знаешь, хуже читается, потому что все время останавливаешься перед тем, как написано, а тогда никакого как не было, одно только что, т. е. полное слияние содержания с формой. У меня и музыка сейчас так же расслаивается на замысел и исполнение автора, на восприятие и осуществление исполнителя, а когда оркестр — то слезу и за автором и за каждым инструментом. А раньше была только "музыка", вообще.

Как хорошо читается в детстве и в юности! И как все принимается всерьез! Только сейчас, перечитывая "Детство и отрочество", я поняла, что и Толстой писал об этой поре своей жизни с доброй и немного иронической усмешкой, без которой невозможна книга о детстве.

Дорогой Борис, тебя раздражают неизбежные мои оговорки в конце каждого моего письма, что мол

прости, все так сумбурно и нелепо, а иначе не выходит, потому что я очень устала и не могу собраться с мыслями. Но и на этот раз я так же и тем же закончу, потому, что это правда истинная. Мне никогда не удастся вложить в письмо и сотой доли того, что хотелось бы, пишу не так, не то и не о том, потому что в голове шумит и в ушах звон — я стала так легко утомляться от работы вовсе не трудной физически, и от этого рассеиваюсь и размагничиваюсь. Я бесконечно благодарна тебе за твои письма, ты мне дорог давно и навсегда, наравне с мамой и Сережей, но чувство мое к тебе без личной горечи, а перед ними я неправимо виновата во многом. Дети — всегда плохие, и наказание их в том, что сознают они это всегда слишком поздно.

Спасибо тебе за все. Целую тебя.

Твоя Аля.

Напиши о своих. Как твой сын? Я была у тебя и ты был один, и мне трудно представить себе твою семью. Сколько лет сыну? Он родился, наверное, году в 35—36, или даже в 1937-м. Единственный мой ориентир это то, что ты мне как-то, давным-давно, накануне моего отъезда из Москвы, говорил о своих беседах с трехлетним (кажется) сыном, да ты наверное не помнишь, а я так хорошо все помню! Потому что мы с тобой редко встречались. И теперь ты мне о нем рассказал немного. И вот я уже и письма не пишу, и спать не ложусь, а вспоминаю, вспоминаю...

А ты говоришь — рассказы писать! Нет, нет, Борис, лучше я буду хорошим твоим читателем. Не по моим силам материал. Пока.

Целую тебя.

4 июня 1951

Дорогой Борис! Пишу тебе, а по реке еще идут льдины. 4 июня! Просто наглость. Круглые сутки светло и круглые сутки пасмурно. Величественно и противно. Правда, когда солнце появляется, тогда чудесно, но это бывает так редко! Вообще же — освещение — это настроение природы, а здесь она вечно плохо настроена, надута, раздражена, ворчлива, плаксива, и все это в невиданных масштабах, с неслыханным размахом.

Было у нас сильное наводнение, многие береговые жители пострадали, лачуги, лодки, ограды унесло водой. Я, как молитву, шептала "Медного Всадника", удивляясь, до чего же верно, и собирала чемоданы, но нас наводнение не тронуло, слава Богу! Все же было очень тревожно. Теперь вода отступает, но под окнами еще настоящий атлантический прибой. Я так люблю море, океан еще больше, а реку — нет, с самого детства боюсь и противного дна, и течения, вообще чувствую себя почти утопленницей. Кроме того река, самая спокойная, тревожит меня, а море и в тишь и в бурю радует. Ну это все неважно. Я пишу тебе, чтобы попросить тебя написать мне хотя бы открытку. Я очень давно ничего от тебя не получала и ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты одним из первых подписался на заем, о чем прочла в "Литературной газете". Главное — как здоровье, как работа?

Я — дохлая, ужасно от всего устаю, когда есть работа — от работы, когда ее меньше — от страха, что совсем не будет. Зимой уставали глаза от постоянного мрака, сейчас — от неизменного дневного света. А кроме того, все же всегда очень труден быт во всех его проявлениях, здесь, конечно, особенно. Но я пока что бодрa и вынослива, особенно если есть хоть немно-

го солнца. Мне кажется — только солнце, настоящее, вольное, щедрое, вылечило бы меня от всех моих предполагаемых недугов, предполагаемых потому, что к врачам не хожу, дабы не узнать, что вдруг я в самом деле чем-ниб. больна.

Поговорить здесь решительно не с кем, а мысленно я обращаюсь только к тебе, правда. Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное, я говорю с тобой с тою же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с Богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. Ты лучше из всех мне известных поэтов переложил несказанное на человеческий язык, и поэтому, когда мое "несказанное", перекипев и отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе, через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно никогда до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого не хуже ни Богу, ни колючкам, ни отшельнику!

Прилетели гуси, утки, лебеди. И вот я думаю, почему же это ни один из русских композиторов, переложивших на ноты русскую весну, не передал тревожного гусяного разговора, ведь гуси в полете не просто гогочут, они переговариваются, повторяя одну и ту же коротенькую музыкальную фразу в разных тонах, и эта фраза колеблется в воздухе плавно и грустно, и вторят ей сильные, различные удары крыльев. И еще — плещется только что освободившаяся от льдов река, закрой глаза и слушай, смотреть не надо, и без того ясно — весна! Русская, с таким трудом рождаемая природой, такая скупая в первые дни и такая красавица потом!

Целую тебя, будь здоров и пиши.

Твоя Аля.

15 августа 1951

Дорогой Борис! Получив твое письмо, я почувствовала то, что обычно испытывают родители, когда ребенок, которого считали погибшим (утонувшим, заблудившимся в лесу, упавшим с дерева, и т. д.) — преспокойно возвращается домой, слегка развязный от небольшого смущения, что, мол, опоздал. В таких случаях обычно (знаю по себе) приходят в бешенство, и только что оплакиваемого первенца жестоко наказывают. Так и я, получив твое письмо, сперва обрадовалась, потом рассвирепела. Потом опять обрадовалась. Но, ты понимаешь, я настолько истревожилась твоим, таким долгим, молчанием, что просто вышла из себя, узнав, что главной причиной его был какой-то доктор Фауст. (Впрочем, это лучше, чем Маргарита!) Хорошо было Гете — взял, набредил, а потомки — расхлебывай, думала я, шагая с почты. Нет, Борис, в самом деле, нельзя так долго не писать мне, именно тебе нельзя, ты же все знаешь и понимаешь, и потом, в конце концов, я уже столько тревоги в жизни перенесла, что больше не хочу, тем более из-за Фауста. А если тебе писать больно, то посылай телеграммы. Мне больнее без писем сидеть, чем тебе их писать. На случай же, если я переоцениваю твою способность все знать и понимать, м. б. в последнее время отчасти отнятую у тебя переводным Мефистофелем, то скажу тебе еще раз, что ты мне бесконечно дорог потому, что именно ты напоминаешь мне отца и мать, сильнее и подлиннее, чем Лиля — папу, а Ася — маму, что пока ты живешь, дышишь и пищишь (пищешь вообще и иногда мне тоже) — я не чувствую себя осиротевшей. Это, конечно, без всякой мистики. Я росла вдали от тебя, но чувствовала твое влияние, наверное, больше, чем твои настоящие дети, с детства привыкла к твоим

стихам, ко всему твоему, и не собираюсь отвыкать. Ты не тревожься, я не напрашиваюсь в "дочери", я вообще "ни в кого" не напрашиваюсь, и мне досадно, что приходится тебе все это растолковывать. Да и не только в отце и матери дело, конечно, я просто очень люблю тебя, за то, что ты такой — поэт и человек, и очень счастлива, что живу в одно время с тобой и могу тебе писать и раз в десять лет говорить с тобой — это одно из моих редких, но несомненных преимуществ перед потомками, которые о наших днях и людях будут знать по книгам да памятникам.

Лето здесь было плохое, все возможные и невозможные варианты дождей и ветров, холодное, некрасивое, главное — холодное. После такой холодной зимы, и предвкушая другую такую же, мы ничуть не отогрелись, не отдохнули, не оттаяли. И вот уже осень в полном разгаре. Кончились белые ночи, с севера движется тьма, отхватывающая все по большому куску от каждого дня. Работаю много, да и хозяйство заедает — с самой весны начинаешь готовиться к зиме, а это очень трудно. Скоро обещают дать очередной отпуск — 12 рабочих дней, которые постараюсь посвятить ягодам и грибам — тоже зимние запасы.

Чувствую себя неплохо, только очень устала, да сердце болит постоянно. Лечусь "необращением внимания" — хорошо помогает.

Ты скажи, обязательна ли тебе операция? У меня была такая опухоль на руке, ее лечили прогреванием, она становилась мягче и потом рассосалась. Боюсь операций.

31 августа будет десять лет со дня маминой смерти. Вспомни ее — живую! в этот день.

Крепко тебя целую. Пиши!

Твоя Аля.

На днях получила письмо от Аси, к ней приехала жена сына с детьми, чему Ася, как будто бы, рада, но не безоговорочно. Во всяком случае Нина снимет с нее физическую работу, это уже очень хорошо. Андрею исполнилось 16 лет, просто не верится! Как идет время!

9 октября 1951

Дорогой мой Борис! Только сейчас получила твое письмо, не потому, что оно долго шло, а оттого, что меня самой не было в Туруханске, только что вернулась из соседнего колхоза, где проработала целый месяц на уборке урожая. Вначале было очень интересно, под конец ужасно устала, да и зима нагрянула, что меня всякий раз очень расстраивает. Еще сейчас не совсем очухалась, т. к. немедленно начала работать в клубе, и к усталости колхозной тотчас же добавилась художественная.

Колхоз — 28 километров от Туруханска, добраться туда можно только по Енисею, ехали на колхозной моторной лодке, когда мотор испортился — на веслах, когда руки устали — пешком по берегу, когда ноги устали — опять на веслах, и т.д.

Наконец на крутом скалистом берегу возникла деревушка — Мироедиха, с десятков прочно построенных, но одряхлевших избышек цвета времени, церковь без колокольни, кругом — тайга, да такая, что перед каждым ее деревом хочется идолопоклонствовать.

Все, как полагается, жидкие дымки из покосившихся труб, собачий лай, ребячий крик и хватающая

за душу русская деревенская тоска, усугубляемая неверным, неярким, неопределенным вечерним освещением. Заходим на "заезжую" — там темно, пахнет ребятишками. Зажигают лампу, и — о Боже мой! венские стулья, кованые сундуки по углам, старинное зеркало в резной раме — глянешь туда и видишь утопленницу вместо живой себя. На стенах — портреты невероятной упитанности блондинов с усиками и в железобетонных негнущихся одеждах, как дешевые памятники. Круглый стол, на столе — самовар, за столом — большеносая седая старуха пьет чай из позолоченной чашки кузнецовского фарфора, на коленях у нее — старый кот с объединенными ушами. Две маленькие беленькие девочки в ситцевых коротеньких платьишках тщательно застыятся от гостей, но зато без всякого смущения показывают голые животы, мне кажется, что попала я в те времена, о которых знаю только понаслышке, да так оно и оказалось. Носатая старуха с умными пристальными глазами живет здесь уже 40 лет — она вышла сюда "взамуж" из Енисейска, а вот и другая старуха, ей 87 лет, она сестра мужа первой, здесь родилась, здесь и состарилась. Она зашла на огонек, к самовару, к гостям, ее тело, похожее на выброшенную прибоем корягу, одето в дореволюционный заплатаанный сатинчик, а глаза, хоть и обесцвеченные временем, посматривают зорко и хитро. Так вот и прожила я месяц в "заезжей", днем работала на поле, а вечерами чинно беседовала со старухами, и чего они мне только не рассказали! Я замечала — у неграмотных часто бывает изумительная память. Лишенная книжной пищи, она впитывает в себя все события своей и чужих жизней, и до самой могилы хранит, ничего не отсеивая, все нужное и ненужное. Старухи рассказали мне, как жили мироедихинские купцы, как шаманы приезжали к ним за товаром —

тогда старшая старуха была маленькой — "шаман всю ночь, бывало, не спит, и мы не спим, боимся, молитву творим, "да воскреснет Бог" ... а еще была шаманка, так та была больно вредная. Померла, похоронили ее у Каменного ручья, бубен над могилой повесили, а она ночью встает да за проезжими гоняется, так и гонялась, пока священник молебен не отслужил на ее могиле, да пося молебна осиновый кол всадил ей в спину — полно ей людей морочить-то!" и т. д. Рассказывали, как священники сгоняли местных жителей в Енисей и крестили их, как купцы за пушнину и рыбу платили водкой, бусами и топорами. Рассказывали, как пригоняли сюда ссыльных, и те получали "способие" и рыбачили, и ходили по ягоды, и собирались вместе, и читали книги, и спорили. На этой самой "заезжей" останавливался Сталин, бывал Свердлов и многие сибирские ссыльные большевики. "А был тут Иона-урядник, ему, как беспорядки начались, приказали большевиков, которые в лесу таились, ловить. . . он полну котомку хлеба наберет, и когда кого встретит, хлебушка ему даст и говорит — идешь, мол, ну и иди, мол. Потом зато Сталин и приказал — Иону никогда никому не трогать, и что он урядником был — не поминать. Не знаю, сейчас живой Иона, аль нет, а работал он на стекольной фабрике в Красноярске вместе с сыном..."

Я тебе потом дорасскажу про колхоз, потому что сейчас до того устала, что нет сил даже писать. За мое отсутствие такой накопился завал дел домашних и служебных, что никак не расхлебаю, а силенок так мало, а они так нужны! Дрова, картошка, двойные рамы, лозунги, плакаты, стенгазеты, монтажи, все нужно успеть, а оно все такое разное и такое утомительное! Особенно после всех этих гектаров картошки, тронутой морозом, турнепса, присыпанного снегом,

и пр. Спасибо тебе за обещанное, когда бы ни прислал, — кстати тем более, что за месяц работы в колхозе я заработала 60 р., 2 1/2 литра молока и мешок картошки!

Целую тебя крепко, скоро напишу еще, если не надоела.

Твоя Аля.

9 ноября 1951

Дорогой мой Борис! Спасибо за твое чудесное письмо. Я долго читала его и перечитывала, вошла в него, как в дверь, открытую в те годы, годы вашего творчества и простора, когда вы были, как два крыла одной птицы. Дорогие мои крылья, светлые, сильные, чистые, вы и сейчас со мной, совсем бескрылой, и не оставите души моей до самого земного предела. Простора — еще может быть и потому, что те годы связаны в моей памяти с океаном, атлантическими ветрами, волнами, облаками, закатами и восходами на самых дальних в моей жизни горизонтах, — все это так великолепно аккомпанировало получаемым от тебя и посылаемым тебе строкам! Все это незаметно и прочно вошло в меня, настолько незаметно, что я и сейчас вспомнить не могу, когда я впервые услышала о тебе, прочла тебя, точно так же, как не помню первой своей встречи с океаном. Точно вы всегда были.

Здесь тоже ветры океанские, но очень уж свирепые. Так хотелось бы, чтобы зимой океан спал — и дышал возможно реже и тише! Зима в этом году началась чуть ли не с августа. Давным-давно все уку-

тано и частично удушено снегом, только над серединой Енисея стоит пар, там еще не замерзло. Конечно, 7 ноября демонстрация у нас не состоялась "из-за климатического условия и плохой погоды", но на площади, которая превращается в таковую только по большим праздникам, был митинг, как всегда очень трогательный и красивый, и в три цвета — белый снег, красные лозунги, и люди цвета времени. Помнишь "цвет времени" в сказках Перро? Это просто неправильный перевод "temps" — погода. Так же, как хрустальный башмачок Золушки должен был быть сафьяновым — *vaif* вместо *verge*. У тебя, наверное, тоже была такая книга, большая, в красном переплете с золотым обрезом, и, главное, с иллюстрациями Доре. До сих пор помню поворот головы "Ослиной кожи", едущей в темном, волшебном лесу, и Красную шапочку с круглой плоской лепешкой в корзиночке — *une galette*, и другой почти такой же, только с лентами, на голове. И спящие в золотых коронах на огромной деревенской кровати дочери людоеда. У меня хорошая память на всякие нелепости, я знаю и помню не менее тысячи сказок разных народов — а к чему? Но зато до сих пор задумываюсь над семью девять и восемью девять с меньшим, чем в детстве, тупоумием. Я давно уже не живу на свете, Борис, я уснула, ибо другого выхода для меня нет — работать так, как нужно, нельзя — а жизнь — это работа, творчество, плюс все остальное, даже пусть без всего остального. Я сплю под всеми этими снегами, не зная даже, придет ли моя поздняя весна, когда я докажу, что я настоящая ветвистая пшеница, а не цепкая и прожорливая сорная трава. Или не пробить мне ледяной корки никогда? Только твои редкие письма доходят до меня солнцем — но потом опять льды, снега да трудности, все не от меня зависящее и не имеющее ко мне никакого отношения.

Скрябин! Ты помнишь, где он жил? Борисоглебский или Николо-Песковский, кажется. Я играла с его дочками, Ариадной и Мариной, а жена его и мать все не могли пережить этой смерти, и жена его, красивая, черноглазая, вся бархатная, плакала над его нотами и никому не давала прикоснуться к его инструменту. Ее звали Татьяна Федоровна. У нее всегда болела голова, она умерла от этого — от воспаления мозга. Только после ее смерти квартира Скрябина была превращена в музей и там все стало тихо и чинно — без шагов твоего божества.

Я ужасно устала от всей предпраздничной подготовки, устала и вся промерзла, работать приходится в нетопленном помещении, нетопленном и шумном — все бесчисленные лозунги и плакаты пишу на полу, так что от умственного труда страдают главным образом ноги, все время на коленях, как в Страстную неделю. Работаю много, а результатов не видно — кроме лозунгов. Ну и быт тут какой-то, по сравнению с Москвой и даже Рязанью, — доисторический, и все это отнимает все время и все силы.

Опять я тебе все написала, как по кочкам проехала, и тряско, и нелепо. Совсем не так хотелось бы говорить с тобой, но и то слава Богу.

Если у тебя будет желанье и возможность, пришли хоть немного своего нового написанного и пиши мне.

Целую тебя.

Твоя Аля.

5 декабря 1951

Дорогой Борис, пишу тебе очень наспех, т.к. работаю как оглашенная, дата за датой догоняют и обгоня-

ют меня, и я должна успеть все "отметить и оформить". Большое спасибо тебе за присланное. Я понимаю, насколько это трудно тебе сейчас, так, как если бы была совсем близко. Все эти сумасшедшие пространства не мешают мне отлично представлять себе все, связанное с твоей жизнью и работой. Я так часто и так, не сомневаюсь в этом, в е р н о думаю о тебе! Это почти забавно, видела я тебя всего несколько раз в жизни, а ты занимаешь в ней такое большое место. Не совсем так, "большое место" — слишком обще и пусто. Вернее — какая-то часть меня, составная часть — так в незапамятные времена вошла в меня мама, и стала немного мною, как я — немного ею. А вообще все то, что чувствуется ясно и просто, превращается в далекую от этого чувства абракадабру, как только пытаюсь изложить это на бумаге.

Мне так хорошо думается, когда я тороплюсь куда-нибудь недалеко, и вокруг снега и снега, кое-где перечеркнутые иероглифами покосившихся заборов, и провода сильно и тоскливо поют от мороза. Хорошо и просто думается, как будто бы достаточно нескольких глотков свежего воздуха, да нескольких взглядов на туруханскую зиму, для того чтобы все встало на свои места и пришло в порядок. К сожалению, это лекарство, такое доступное, не надолго помогает.

Я стала легче уставать, и это меня злит и тревожит. Нет никаких сил, осталась одна выносливость, т. е. то, на что я рассчитывала как на последний жизненный ресурс под старость! А иногда думается, что если бы вдруг по чудесному случаю жизнь моя изменилась — коренным и счастливым образом, силы вернулись бы. Не может быть, чтобы они совсем иссякли, ни на что дельное не послужив!

Зима у нас началась с ноябрьских праздников пятидесятиградусными морозами, в декабре же чуть

не тает, и я немного ожила. Ужасно трудно работать в большие холода, когда стихии одолевают со всех сторон! Спасаясь только тем, что красива здешняя зима, чужда, но хороша, как красивая мачеха. Терпишь от нее столько зла, и — любишь ее.

Пиши мне хоть изредка. Твои письма — да еще Лилины весточки — единственное, что греет душу. Остальному достаточно березовых дров.

Крепко целую тебя, всегда с тобою.

Еще раз спасибо за все. Будь здоров и пусть все у тебя будет "не хуже"!

Твоя Аля.

14 января 1952

Дорогой мой Борис! От тебя так давно нет писем — и сама не пишу: устаю, тупею от усталости, от нагромождения усталостей. Моя голова становится похожей на клуб, в котором работаем: помещение нетопленное, в одном углу свалены старые лозунги, в другом — реклама кино, в третьем — бочка, в четвертом — что-то начатое и неоконченное, посередине — ободранные декорации. Впрочем, чтобы у тебя не было превратного мнения о клубе как таковом — это у нашей "рабочей комнаты" такой вид, а вообще-то клуб как клуб, все на месте, только очень холодно.

В январе у меня стало немного полегче со временем, работаю часов 8—9, но все равно ничего своего не успеваю, кроме стирки, уборки, готовки и пр. — быт пожирает всяческое бытие. Впрочем, зимой в нем (быту) есть своеобразный уют — жилья, тепла, очага.

И еще уют от собаки — настоящей Каштанки с виду (и казак душой!) и сибирского кота, лентяя и красавца до последней шерстинки.

Людей здесь интересных совсем нет, или же интересны они только в каком-то очень скоро наскучивающем плане, потолок отношений весьма низок, а дальше требуется только терпение. Которого не хватает.

Наш крохотный домик, по-моему, очень мил. Женщины невероятно быстро обрастают всякими вещами и вещичками. Особенно быстро обросли мы с Адой, получив посылками (особенно она, бедняжка) все, что загромождало домашних, массу всякого ненужного старья и всяких странных предметов — ножницы без концов, сантиметры не в сантиметрах, а в милях и ярдах, какие-то зажимки, заколки, тряпочки, ниточки, пояса от платьев и т. д. — и главное, конечно, выкинуть жаль — "память"! Аде даже прислали бархатную шляпу с перьями. (Я отнесла ее в пополнение к клубному реквизиту. В мое отсутствие ее надел один паренек, член кружка художественной самодеятельности. В постановке он изображал американского гангстера — в этой шляпке!)

Да, так вот, наш домик очень мил потому, что мы сложили все сувениры в один сундук, и сидим на них. На поверхности их не видно. И все у нас очень просто и чисто, так что теснота помещения не очень заметна. Теснота эта с лихвой возмещается окружающим простором, который вовсе не радуется. Все мечты всегда идут против течения Енисея, т. е. с севера на юг. На праздники у нас была елка, прелестная, аккуратно-пушистая, я только сегодня убрала ее, стала осыпаться. С самого детства люблю елку, по-настоящему радуюсь ей. И, вместо всяких нудных православных панихид, светло и живо вспоминаю маму, подарившую мне

такое чудесное детство, научившую меня видеть, слышать и понимать. А чувствовать даже слишком научила.

Прости меня за корявый почерк — очень плохая бумага, да и пишу на коленях, за ошибки, которых делаю все больше и больше (имею в виду орфографические) — тут уж не знаю какое оправдание найти. За вышеизложенную белиберду извинения не прошу, ты по доброте сердечной найдешь, что чудесное письмо. Напиши хоть немножечко. Да, Борис, е с л и т о л ь к о н е т р у д н о, пришли, пожалуйста, иллюстрированного "Ревизора", или любое гоголевское с картинками, кроме "Бульбы" — единств., что есть в здешней библиотеке. Приближается юбилей, а здесь нет ничего.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

22 января 1952

Борис мой родной, наконец получила первую твою, уже домашнюю, весточку. Спасибо тебе! Я не сразу почувствовала облегчение, слишком велика была во мне тяжесть твоей болезни, мне еще не легко и сейчас, я еще страдаю по инерции, но вместе с тем и наступает в душе рассвет дня твоего выздоровления. Как я вымаливала тебя у темного, северного неба, у ледяной северной реки, у всех четырех ветров, у всех суровых северных стихий, как будто бы именно они держали тебя в плену, как будто бы от них все зависело! Я не молюсь, я не умею, я не верю — несмотря

на все Асины заклинания! но в час горя, в час беды, я вся по-язычески растворяюсь в небе, не в том, что выдумали люди, а в том, что над головой, я чувствую, как и моя судьба включается в вековечное движение судеб всех светил и всех стихий — боль утихает. Нет больше ни времени, ни пространства, ни условностей, я вхожу в твою палату и беру в руки твое сердце. — Но как недолговечна эта анестезия! И опять бьешься головой об стенку — единственный вид реальной помощи, которую я способна оказать себе и другим!

Живу я все так же, по-прежнему очень много работаю, по-прежнему последние крошки времени отнимает здешнее мудреное хозяйство, и все самое нестойкое стоит больших усилий, а на самом-то деле самым главным все время была твоя болезнь, да и не то что болезнь — жизнь твоя.

Очень хорошо, что вы поедете в санаторий, и очень хорошо, что ты уже дома, и очень, очень хорошо, что ты мне написал, и все очень хорошо. Где ты будешь отдыхать, далеко или где-ниб. под Москвой? И как хорошо, что вместе с Зиной. Какая дикая вещь, собственно говоря, что тебя я знаю почти наизусть, гораздо больше и глубже, чем любая мать своего ребенка — а ее и о ней — совсем ничего. И о том, что ее зовут Зиной, узнала недели три тому назад, из Асиной открытки, где было сказано, что Зина пишет о том, что тебе лучше.

Я помню только, как давно, ты приезжал к нам на несколько дней,¹⁴ мы сидели среди книг и апельсинов у тебя в гостинице, и ты был страшно влюблен (в Зину!) и нечленоразделен. Потом мы ходили с тобой в магазин и покупали ей маникюрный прибор и платье, и ты пытался объяснить мне ее рост и размер на моем росте и размере, и в это время глядел на меня, но мимо и сквозь. Так с того самого дня Зина, с

ее ростом, размером, цветом волос и глаз, сущностью, со всем тем, благодаря чему она, именно она, стала твоей женой — остается для меня полнейшей тайной. Одним словом "жена — есть жена", сказал Чехов. Всякая. В том числе и Зина.

Родной мой, поправляйся хорошо, крепко, не торопясь, не обольщаясь хорошим самочувствием и не пугаясь плохого, я знаю, что должно пройти еще порядочно времени, пока все в тебе уравновесится и успокоится.

Как всегда, прошу тебя не удивляться бреду моих записок, я всегда пишу ночью, почти во сне, и вероятно не-бредовым и не-сонным остается одно, основное — я очень люблю тебя, настолько, что вот ты уже и дома, а не в больнице. Мы все отстояли и отпросили тебя, и Зина, и Ася, и все те, кого я не знаю, — и я тоже.

Крепко целую тебя, мой родной. Поправляйся.
Твоя Аля.

19 марта 1952

Дорогой мой Борис! За всю зиму я, кажется, не получила от тебя ни одного письма и, как ни странно, не собираюсь упрекать тебя за упорное молчание хоть бы настоятельно. Я сама виновата, т. к. пишу тебе ужасно нудные послания, которые могут у тебя вызвать в лучшем случае желание ответить в не менее нудных тонах, в худшем — перемолчать. И это у меня получается как-то само собой, как будто бы сидит во мне какая-то зубная боль, невольно прорывающаяся в письмах.

У нас стоит чудесный март, блестящий до боли в глазах, нестерпимо яркий. Окна оттаивают, с крыш свешиваются козы рожки сосуллек, но так еще и не думает таять. Морозы пока что вполне зимние. Очень хороши здешние ночи, тишина такая, будто, в ожидании каких-то необычайных звуков, с тем, чтобы тебя подготовить к восприятию их, у тебя выключили слух. Только собственное сердце стучит, да и то ощущаешь грудью. А звезды! Они как бы потягиваются, выбрасывая и пряча короткие лучики, охорашиваются, как птицы, трепещут, вспыхивают оттенками, которым нет у нас названия, кажется, им ничего не стоит нарушить строгий порядок вселенной, перепутать все четкие формы созвездий. Млечный путь так хорошо брошен над водным — и зимой тоже млечным — путем Енисея — и все так хорошо и так понятно! Если бы умирая видеть над собой такое небо, и т а к его видеть, то не было бы ни страха, ни горечи, и никаких грехов. Только, мне думается, смерть всегда слишком рано приходит, мы начинаем понемногу умирать со смертью первого близкого человека. Я, например, стала умирать ужасно давно, осознав, что Пушкин убит на дуэли. А в дальнейшем пришлось умирать и более больно. (Это я стараюсь написать не нудное письмо, Боже мой!)

Живу я, Борис, все так же, бесконечно много и старательно работаю, устаю и глупею. Три дня с наслаждением болела гриппом и впервые за много лет понастоящему лежала в постели, немного читала, спала и думала только о хорошем, как в детстве. Отдохнула и сразу лучше себя почувствовала, вероятно я очень переутомлена, ведь отпуск у меня всего 2 недели в год, да и тот проходит во всяких очень трудоемких домашних делах. Ведь беспрестанно что-то нужно делать — то печка разваливается, то крыша течет, то

еще что-то, и это все так неинтересно, честное слово! Я бы с удовольствием съездила на месяц хотя бы в Кисловодск, с тем чтобы решительно ничего не делать и озирать окрестности с балкона санатория. Пусть там нет такого чудесного неба, как здесь, — пошла бы на уступки!

Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни вне дачного периода, и какую она на меня нагоняет тоску! Особенно когда ей конца-края не видно, кроме собственной естественной кончины. Хочу жить только в городе и только в Москве. И полна глупейшей надежды, что так оно и будет. У моей судьбы должны быть в запасе еще и хорошие чудеса. Очень жду твоего письма, очень хочу о тебе знать.

Крепко целую.

Твоя Аля.

Есть ли письма от твоей Тристесс, как она и где? Пиши мне!

6 мая 1952

Дорогой мой Борис! Бесконечное спасибо за все, тобой присланное и мною полученное, и не только за это. Во-первых и прежде всего спасибо тебе за тебя самого, за то, что ты — ты! Очень меня взволновало и твое письмо, и мамины стихи. Я помню, как писались те, что красным чернилом, и тот чердак, и тонкий крест оконной рамы, и весь тот — девятнадцатый — год. Первое из чердачных — не полностью, видимо, не

хватает странички, а конца наизусть я не помню. А те, что черными чернилами, — из большого цикла "Юношеских стихов". Полностью они никогда не были опубликованы и в рукописи не сохранились; есть один машинописный оттиск всего цикла. Спасибо тебе, родной мой!

Да, вообще-то я очень люблю тебя и за то, что ты мне так редко пишешь, и ты, конечно, мог бы мне не объяснять почему, я и сама все знаю. Я люблю тебя не столько, может быть, или не только за талант, а и за рамки, в которые ты умеешь его загонять, рамки данной цели, рамки долга, за рабочий мускул твоего творчества. За это же я горжусь и мамой, недаром назвавшей одну из своих книг "Ремеслом" — не помню дня ее жизни без работы за письменным столом, прежде всего и невзирая ни на что. Э т о дано очень немногим, очень избранным, ну а вообще талантливых, и в частности поэтов, куда как много, и в конце концов невелика цена их вдохновению! А почему "Ремесло" так названо ты, наверное, знаешь? Мама очень любила это четверостишие Каролины Павловой: "О ты, чего и святотатство Коснуться в храме не могло, Моя печаль, мое богатство, Мое святое Ремесло!" (Вот только не уверена, что "печаль", так мне запомнилось в детстве.)

Только, однако, не злоупотребляй моей любовью к тебе и не-за-не-писанье писем во имя писанья основного. Мне просто время от времени нужно знать, что ты жив и здоров, это можно сделать даже открыткой, даже телеграммой.

Пусть это дико звучит, но я до сих пор не могу простить себе, среди прочего невозвратно не сделанного мною, то, что я в свое время попросту не стащила в библиотеке училища, где работала, монографию твоего отца, о которой тогда писала тебе. Как она была чудесно издана, какие великолепные репродук-

ции, хотя бы тех же иллюстраций к "Воскресенью", сколько зарисовок детей, в том числе и тебя, подростка, юноши. И какой-то семейный праздник, когда все с подарками. И твой портрет, тот *trois-quarts*, на который ты и по сей день похож. Там было много Толстого и Шалапина, а главное, там было так непередаваемо много жизни — жизни в пол-оборота, с незаконченным жестом, стремительной и вечной в вечной своей незавершенности и незавершаемости.

Не смейся, но я в самом деле была бы не только менее несчастлива, но даже более счастлива, если бы эта книга была у меня здесь. А ведь ее нигде не найдешь. Да и искать-то негде.

Одним из итогов прожитого и пережитого у меня оказалось то, что отпало много лишнего и осталось много подлинного, т. е. отпало всяческое кино, всяческое легкое чтение и смотрение, всякий интерес к этому, всякая потребность. И если не дано мне творить, то хоть хочется дочитать, досмотреть, довидеть, дочувствовать настоящее. Творить же не дано по чисто внешним причинам, дай Бог, чтобы они отпали прежде, чем отпаду я сама!

Вот я недавно писала Лиле о том, что у меня странное чувство, будто бы я живу не свою, а чью-то чужую жизнь. Все, что было до Туруханска, определено было м о и м, а здесь — какой-то пробел, точно настоящая, живая я просто осталась, ну, хотя бы, на пароходе. Так у меня впервые, и причины сама не найду. Ни причины, ни самой себя. Очень редко встречаюсь я с самой собой — на первомайской демонстрации, иногда в настоящей книге, или вот на днях мы провожали в армию одного нашего молоденького работника, и вот представь себе вокзал аэропорта, изредка нарастающий и пропадающий рев самолета, идущего на посадку, звук провожающей новобранца

гармошки, пляски и песни среди стандартных пейзажей в золоченых рамках и кресел в холстяных чехлах — каменные лица матери и сестер, а за застекленной дверью бледная, вялая, слабая весна: снег подался, осел, из-за этого тайга стала выше, точно все деревья встали на цыпочки, зелени еще нет и в помине, просто обнажились ранее скрытые зимой последние осенние оттенки. Опять гармошка и стук каблуков и песня, но лица все равно не теплеют, чтобы проводить сына, брата, товарища без слез. А ведь провожая всегда хочется плакать, даже на заведомо хорошее провожая! И вот здесь я немного "встретила себя" — м. б. оттого, что на минуту пахнуло настоящей жизнью? а уж на обратном пути опять я — не я.

Еще раз тебе спасибо. Мне очень хочется, чтобы ты не болел и чтобы это лето было у тебя всесторонне удачным. Скажи, а твои боли в спине не могут быть какою-ниб. разновидностью вегетативного невроза или чем-то в этом духе? Такие истории длительны, болезненны, но, к счастью, не опасны. Только обычно трудно бывает поставить диагноз — обращался ли ты к хорошему невропатологу?

Крепко тебя, родной, целую. Будь здоров и спокоен.

Твоя Аля.

5 июня 1952

Дорогой мой Борис! Еще плывут по Енисею редкие льдины, а уже июнь! Никак не могу привыкнуть к тому, что здешняя природа и погода так отстают от обще-

принятого календаря, да и вообще от всего на свете. За окном — безнадежный дождь, мелкий, нудный, и все вокруг — цвета дождя, и небо, и земля, и сам Енисей, шумящий возле дома. Этот дождь назревал как болезнь уже несколько суток, и наконец разразился, сперва, а потом и пошел и пошел однообразно стучать и скучать по крыше. Ночей у нас уже больше нет, стоит один и тот же непрерывный огромный день, сразу ставший таким же привычным, как недавняя непрерывная ночь. Еще нигде ни травинки, ни цветочка, весна еще ленится и потягивается, пасмурная и неприветливая, как старухина дочка из русской сказки. Навигация пока что не началась, но на днях ждем первого пассажирского парохода из Красноярска. Гуси, утки, лебеди прилетели. Кажется, все готово, все на местах, дело за весной. Я живу все так же, без божества, без вдохновенья, и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей. Сонм мелких и трудоемких работ и забот не снимают с меня все обостряющегося чувства вины и ответственности за то, что все, что я делаю, — не то и не так, и по существу ни к чему. Быт пожирает бытие, и все получается вроде сегодняшнего дождя, не нужного здешней болотистой почве, и к тому же такого некрасивого!

Поговорить даже не с кем. Правда, все мои бывшие собеседники остаются при мне, но ведь это же монолог! А о диалоге и мечтать не приходится. Тоска, честное слово!

Ты прости меня, что я к тебе со своими дождями лезу, как будто бы у тебя самого всегда хорошая погода. Но кому повем? Ты знаешь, когда вода близко шумит, и шум ее сливается с ветром, я всегда вспоминаю раннее детство, как мы с мамой приехали в Крым, к Пра, матери Макса Волошина. Ночь, комната круг-

лая, как башенная (кажется, и в самом деле то была башня), на столе маленький огонек, свечка или фонарь. В окно врывается чернота, шум прибоя с ветром пополам, и мама говорит — "это море шумит", а седая кудрявая Пра режет хлеб на столе. Я устала с дороги и мне страшно вато.

Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу о декабристах, и все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти — м. б. просто потому, что все ж и в о е близко живым? Ведь Пушкин — совсем современник, а Жуковский — далек. Я хорошо помню Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста, и в самом деле все близко получается — ведь его отец родился в Сибири!

Нет, Бог с ним с дождем, а жить все равно интересно. И все равно — ж и в ы е — бессмертны!

Когда ты устанешь переводить и захочешь пойти покопаться в огороде, вот в эту самую минутку, между переводом и огородом, напиши мне открытку. (Хотя бы). Пусть у меня будет хоть иллюзия диалога. Мне очень хочется узнать о твоём здоровье, и очень хочется, чтобы никакие боли тебя не мучили. Когда ты долго молчишь, я думаю (и, увы, иногда угадываю!), что ты болеешь. И не столько из-за дождя я написала тебе, и не столько из-за свободного вечера (а их будет так мало летом — дрова, картошка, всякие общественные сенокосы, уборочные, народные стройки!), сколько из-за желания сказать тебе что-то от всего сердца хорошее. И опять не вышло.

Крепко тебя целую. Будь здоров!

Твоя Аля.

1 октября 1952

Дорогой мой Борис! Спасибо тебе за твое чудесное письмо, пришедшее ко мне с первым снегом, выпавшим на Туруханск, еще не очухавшийся от прошлогодней зимы. Оно пришло с юга на север, упрямой птицей, наперекор всем улетающим стаям, всем уплывающим пароходам, всему, всем, покидающим этот край для жизни и тепла. Душу выматывает это время года — вот, пишу тебе, а за окном пароход дает прощальные гудки — у них такой обычай: в свой последний рейс они прощаются с берегами — до следующей весны. И гуси, и лебеди прощаются. А снег падает, и все кругом делается кавказским с чернью, и хочется выть на луну. Из круглосуточного дня мы уже нырнули в такую же круглую ночь — круглая, как сирота, ночь! И, когда переболит и перемелется в сердце лето, солнце, тогда настанет настоящая зима, по-своему даже уютная.

А вообще-то жить было бы еще несравненно труднее, если бы я не чувствовала постоянно, что ты живешь и пишешь. В этом какое-то оправдание моей не-жизни и не-писания, как вышеназванная ночь оправдывается вышеназванным днем. Почему — не додумала, но именно так. Я пишу тебе эту записочку, чтобы успеть отправить ее до того, слава Богу короткого, но все же промежутка времени, когда из-за погоды будет работать только телеграф. Я убийственно устала и у меня нет секунды на передышку, я, кажется, и во сне тороплюсь. Трудные домашние и утомительные служебные дела и вообще самое всесторонне тяжелое время года. Я скоро напишу тебе, более или менее как следует, ответ на твое письмо, а пока просто коротенькое за него спасибо, радость ты моя!

Целую тебя, главное — будь здоров!

Твоя Аля.

10 октября 1952 г.

Дорогой мой Борис! Только что получила твое извещение о переводе и несколько таких чудесных строк на таком казенном бланке! Спасибо тебе, мой родной, спасибо тебе бесконечное за все, а главное за то, что все, исходящее от тебя, для меня праздник, т. е. то, чего я абсолютно лишена, и без чего я абсолютно жить не могу. И каждый раз, когда я вижу твой почерк, у меня то же ощущение глубокого счастья, что и в детстве, когда я знала, что завтра — Пасха, или Рождество, или, в крайнем случае, день рождения. Вообще, я ужасно тебя люблю (м. б. это — наследственное?), люблю, как только избранные избранных любят, т. е. не считаясь ни с временем, ни с веком, ни с пространством, так беспрепятственно, так поверх барьеров! Но, зная твою повадку, уверена, что ты мне в ответ, поняв эти строки как написанные во времени и пространстве, ответишь, что у тебя грипп, что тебе ужасно некогда и вообще. Ты меня уже несколько раз так учил — и конечно не выучил.

У нас зима, и на первых порах, пока не приелось, это чудесно. Опять вся жизнь написана черным по белому — снег совсем новый, и все на нем кажется новым и маленьким, все избушки, человечки, лошадки, собачки. Лишь река, как всегда, совершенно лишена уюта, и по-прежнему душу тревожит ее неуклонное движение, пусть сковываемое льдами.

Небо здесь всегда низкое, близкое и более чем где-либо понятное. До солнца и до луны здесь рукой подать (не то что до Москвы), и своими глазами видишь, как и из чего Север создает погоду и непогоду, и ничему не удивляешься. Только северное сияние иногда поднимает небесный свод на такую высоту, что за сердце хватает, а потом опять опускает, и опять ничего удивительного.

Если бы не ты, я, наверное, была бы очень одинока, но ведь все я вижу немного твоими глазами, немного с тобой вместе, и от этого легче.

А так — здешняя жизнь похожа на "Лучинушку".

Сегодня ушел последний пароход. Отчалил от нашего некрасивого берега, дал прощальные гудки, ушел на юг, обгоняя ненадолго зиму. А мы остались с берегом вместе, люди, плоты, стога бурого сена, опрокинутые лодки, все запорошенные снегом. Еще тепло, но горизонт розов, как взрезанный арбуз — к морозу. И зачем я тебе все это пишу? Зима есть зима — с той же интонацией, что чеховское "жена есть жена".

С весны и до самого снега я мучилась со всякими хозяйственными делами — ремонтом, дровами, мучилась потому, что все делала через силу, не любя, — не потому, что это тяжело и трудно, а потому, что это только для себя, все необходимо и все совершенно мне не нужно, понимаешь? а вечером ложилась спать и видела один и тот же нелепый сон — иду поздно вечером по городу и ищу магазин "Printemps", он, весь в огнях, возникает из-за какого-то угла, я вхожу и всю ночь брожу по всем этажам, до головокружения от шелков, кружев, безделушек. Надо сказать, что этот магазин мне так же нужен, как и все мое туруханское бытие. Так вот, во сне и наяву все лето встречались полюсы — тот, от которого я ушла, с тем, к которому пришла. Одним словом, пропало лето!

Перечитывала Чехова, которого очень люблю, прочла "50 лет в строю" Игнатьева, там чудесные слова Клемансо о Бриане — "человек, который ничего не знает и все понимает". И я тоже.

Кончаю свое очередное сумасшедшее послание, т. к. устала до одури, остальное доскажу засыпая, не заходя на этот раз в свой сонный магазин. Просто побродим с тобой по городу и проговорим — всю ночь.

Спасибо тебе еще раз огромное помимо всего прочего и за деньги, это каждый раз такая помощь и всегда в такую трудную минуту!

Кстати, первое, что я на них сделала, — купила себе целлулоидного льва лимонного цвета, просто чтобы себе доказать, что вот что хочу, то и делаю — без всякого расчета!

Целую тебя крепко и конечно давай обнимемся!
Твоя Аля.

Я с нетерпением жду чего-ниб. твоего, написанного или хотя бы переведенного!

8 декабря 1952

Дорогой мой Борис! Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму — о том, что тебе лучше. Слава Богу! Я не то что волновалась и беспокоилась, п. ч. и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом — все время болела вместе с тобой и продолжаю болеть. Правда, после весточек о том, что ты поправляешься, на душе стало легче, но у меня всегда бывало так, что всякую боль и тревогу я переносила труднее, и помнила дольше, чем нужно, и с физическим прекращением боли она все равно еще долго жила во мне. Так же и теперь — ты все болишь во мне, хоть я и знаю, что тебе легче.

Не писала тебе все время из-за какого-то внутреннего оцепенения, которое по-настоящему прекратится

только тогда, когда я получу от тебя первые после болезни строки. Все время думала о тебе и с тобою, и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы скорее побороть болезнь. Это не слова.

А так у меня все по-прежнему. Зима в этом году, кажется, особенно лютая, все время около 40⁰, несколько дней доходило до 50⁰, и все время ветры. Мы обе на работе с утра до вечера, придешь, а дома все промерзло и снег выступил на стенах. К счастью, печка у нас хорошая, сразу дает тепло. Еще больше холода донимает темнота, день настолько короткий, что о нем и сказать нечего. С утра и до ночи керосиновые лампы, только в редкие солнечные дни как бы рассветает ненадолго. Очень устают глаза, да и вообще все устает от холода и темноты, от их неизбежности и однообразия. Однообразно здесь все, редки просветы нового или чего-то по-новому увиденного. Поэтому всегда — здесь — особенно радуют праздники, это по-настоящему "красные" дни, в лозунгах и знаменах, дни, с красной строки вписанные в белым-белые страницы зимы. Я живу так далеко от всего, что перестала ощущать и понимать расстояния, объемы, размеры. Стоишь на высоком берегу, и только и чувствуешь, что спиной упираешься в полус, лицом — в Москву, головой — в небо. Все близко, просто и ведомо, и аравийские восходы над ледяной пустыней, и звездные дожди, и... и... и... Кстати об "и", я прочла "За правое дело", все, кроме окончания. Не могли не понравиться отдельные места, и не могла не разочаровать вся книга в целом. Рассыпчатая она, без стержня, без хребта, без героя — записная книжка, а не книга. Гроссман, конечно, талантлив и бесспорно наблюдателен, но меня всегда раздражает такая форма повествования (вот у Эренбурга, например, да и у многих, начиная, кажется, с Дос-Пасоса) — будто бы

автор сценарий пишет, заранее представляя себе, как все это будет выглядеть на экране. А некоторые вещи как-то (с моей точки зрения) бестактны — как, например, одна подруга прикалывает другой брошку, там, в бомбоубежище, чувствуя, что больше они не встретятся. Накинь одна пожилая женщина другой платок на плечи, вот уже и правдоподобно, а брошечку могла восемнадцатилетняя восемнадцатилетней же приколоть — тем брошка и ценность и память даже при бомбардировке. И кроме того, мне кажется, не характерно для интеллигенции подчеркивать п р о щ а л ь н о с т ь встречи. Пусть ты знаешь, что навсегда, а другому, близкому, ни за что не покажешь, чтобы он не знал, не почувствовал, чтобы е м у легче было. И много-много такого как-то огорчило меня в этой книге-хронике. Вернее всего — придираюсь, смотрю со своей колокольни, я бы, мол, не так сделала, я бы по-другому написала. . . А отдельные места хороши, хороша разговорная речь, природа.

Крепко, крепко целую тебя, поправляйся, мой родной.

Представляю себе, как измучила тебя болезнь и неподвижность! Будь здоров!

Твоя Аля.

25 февраля 1953

Дорогой мой Борис! Сегодня я видела тебя во сне (это начало не сулит ничего путного, и сейчас же вспоминается Ася в худших ее проявлениях, т. е. в видениях и снах!) Но все равно я расскажу. Мы шли с тобою рядом, и слева был бледно-зеленый и сверкаю-

щий ледоход, он же — море, и ты говорил о том, что все — условно, что те же сосны в Туруханске и в Крыму, а я плохо слушала и смотрела на твой профиль, темный против солнца, и была отчего-то преисполнена гордости и лукавства. Мы шли, и нас обгоняли грузовики-цистерны с волго-донской водой, потом был город, у входа в который ты остановил грузовик и попросил у шофера воды — запить лекарство. Лекарство было в маленьком четырехугольном флакончике, и принимать его нужно было четыре раза в день. Мы искали стакан, и смеялись над тем, что ищем его, и ты запивал свой порошок из моих ладоней, я смотрела на твой затылок свысока и с нежностью. Потом ты хлопал цистерну по боку, как коня, и сказал, что вода — святая и живая. "Привет!" сказал шофер, и святая и живая вода уехала. Еще потом, когда мы уже шли по городу, ты вдруг как-то очень по-простецки сказал: "Нужно все-таки будет отхлопотать тебя у мамки!" Потом подумал и добавил: "Голову преклонить негде. Положу ее тебе на колени". И я подумала о том, что все тебе идет, даже говорить "мамка" (это про мою-то маму!) и "отхлопотать". Я проснулась с чувством, что ты и в самом деле был рядом, вот уже вечер, а чувство радости оттого, что я встретила тебя, не растворилось, не иссякло. Вполне наяву я сбегала на почту и получила твою открытку из Болшево. Слава Богу, что ты чувствуешь себя лучше. Ты и не представляешь себе, как я извелась за твою болезнь и какое это счастье — вновь держать в руках твои весточки! Только не работай слишком много, не переутомляйся. Ведь ты, наверное, и не замечаешь усталости, работая. Я устаю только от хозяйственных дел, и безумно — от разговоров, так что вполне понимаю тебя с твоей жаждой одиночества во время прогулок. Вообще же под старость лет меня, видимо, одолевает мания величия, мне

все кажется, что только я одна "разговариваю", а остальные — "болтают". Впрочем, избегаю и того и другого.

Так значит ты в Болшеве. Да, мы все жили там, наша дача была недалеко от станции. Я там была по-настоящему счастлива, и сознавала, что счастлива. Не потом, путем сравнения, поняла, что то было счастье, так просто — жила, и каждый день был сознательным, вернее — осознанным счастьем. Невероятно! И ведь та же самая я!

Работаю я по-прежнему много, но успеваю читать и думать о прочитанном.

Кстати, читал ли ты в "Правде" рецензию Бубеннова о "Правом деле" Гроссмана? (как правильно: рецензию "о" или "на"? Эпитафия, я знаю, "на". Рецензия тоже, наверное!)

Это письмецо я рискну послать тебе в Болшево, хотя точного адреса не представляю себе. Значит ты там!

Помнишь, как мы сидели с тобой в сквере против Жургаза и тебе было так тяжело, а я была полна своего "осознанного" болшевского счастья? Ты говорил, что завидуешь мне, что я молода, и что у меня все так просто в жизни. Это, кажется, был единственный раз, что ты меня обманул!

Дни у нас становятся длиннее, теплее — около — 15—20°. Приближается моя сороковая весна, но с точки зрения чисто женской меня это мало трогает, т. к. здешний климат сохраняет молодость даже мамонтам!

Крепко целую тебя, поправляйся!

Твоя Аля.

Туруханск 6 мая 1953 г.

Дорогой мой Борис! Устала, как здешняя собака (именно здешняя, т. к. на них всю зиму возят воду и

дрова), и поэтому только сейчас в состоянии написать тебе немного, и поблагодарить тебя за неизменную твою заботу. Спасибо за все, мой родной! Я писала тебе по какому-то фантастическому адресу в Болшево, когда ты там отдыхал, но не знаю, дошло ли письмо, если нет, то беда очень невелика. Да, этот год полон событий и перемен, я немного понимаю это умом, но ничего не успеваю осознать как следует. Я настолько, видимо, перенасыщена "прожитым и пережитым", что все последующее как-то не достигает души, если ее у меня хоть сколько-нибудь осталось? Вернее всего, я просто дико устала, немного отойду и снова начну всему удивляться.

Опять весна. Здесь она, до явного начала лета, горностаевая, белая с проталинками черной земли. Вначале эта необычная весенняя масть трогала меня, а теперь я привыкла и надоел этот бедный полутраур, раскинутый на тысячи километров, на десятки дней. Преснота, грозная по своим масштабам, что может быть противнее? И потом, сколько ни живи, а сирени все равно не дождешься. Птицы не поют, цветы не пахнут, куры не несутся, все назло, все наоборот. А между тем весна здесь, как и всюду, самое доброе время года. Что же скажешь об остальных?

Изредка, с чувством нежности и досады, получаю Асины письма на нарочитых клочках бумаги, без начала, без конца, где под копирку, где — оригинал, какие-то скифские могильники. Роешься, роешься, пока набредешь, да и то не всегда, на какое-нибудь бронзовое украшение, да и то не угадаешь, где и зачем его носили. В ней очень много мамино, но искривленного и изуродованного до неузнаваемости, они схожи и несхожи, как здешняя корабельная сосна и карликовое японское деревцо. Маму я всегда как-то г о р д о люблю, а Асю совсем не так, иначе. И потом

Ася со всем ее бесспорным благородством, цепка и гибка, чего в маме совсем не было. Лиля тоже пишет и тоже редко, и мало, но меня всегда бесконечно радуют ее письма. Она полна тепла и света, полна — ну как бы сказать? материнства, что ли? Пожалуй, именно материнства — и в отношениях с людьми, и в отношении к работе, к жизни: добро и чувство ответственности перед всеми, за все. Я только с ней да с тобой чувствую себя родной кому-то, а так сколько лет хожу в падчерицах, и как это опротивело! Главное, внешне к этому привыкаешь, а внутренне — невозможно. Да к тому же падчерицы приемлемы, ну, скажем, до двадцатипятилетнего возраста, а к сорока сами ведьмеют. И медведеют.

Оторви хоть маленький кусочек своей милой, подмосковной весны в мою пользу, напиши мне, как сердце и как работа. Я знаю, насколько ты — оправданно — скуп в отношении времени, и, следовательно, писем, но все равно напиши мне немножко. Я тоже ведь почти роман (отменно длинный, длинный, длинный. . .), не весь же век мне ходить в Брокгаузах, и потом может быть всевышний автор придумал мне все же не слишком грустную развязку? (Это я к тому, что я вполне заслуживаю письма!)

Да, я почти не заметила, как в этом году прошли здесь майские праздники — только видела много очень живописных пьяных. Один из них даже выбил лбом стекло в нашем клубе, чтобы подышать свежим воздухом. Выбил и ушел, т. ч. свежим воздухом пользуемся мы.

Крепко тебя целую, будь здоров. Спасибо бесконечное за все.

Твоя Аля.

29 мая 1953

Дорогой мой Борис! Я очень скучаю по тебе, хоть и пишу так редко. Не только время мое, но и всю меня, как таковую, съедают неизбывные работы и заботы, вернее не съедают, а разрознивают, разбивают на мелкие кусочки. И в редкие минуты, когда я собираюсь воедино, все равно чувствую себя какой-то мозаикой. Или — "лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду" — в одном лице. В таком состоянии трудно даже письмо написать.

Кончается май, а сегодня у нас первый весенний день, голубой и холодный. Холодный оттого, что лед идет. За окном настоящий океанский гул, мощный и равнодушный. Меня с самого детства потрясает равнодушие водных пространств — в любом живом огне больше темперамента, чем в Енисее, впадающем в океан, и чем в океане, поглощающем Енисей. Вода равнодушна и сильна, как смерть, я боюсь и не люблю ее. Вчера у меня на глазах утонул мальчик, ловивший с берега лес-пловун. На одном конце веревки — железный крюк, другой держат в руках, когда подплывает "лесина" — сильно размахиваются, бросают канат, крюк впивается в дерево. Мальчик же привязал канат к себе, крюк с брошенного им конца зацепился не за дерево, а за проходившую мимо льдину, которая стащила его с берега, уволокла за собой. В двух шагах от берега, от людей его закрыла чудовищная неразбериха ледяных кувыркающихся глыб — и ничто не остановилось ни на секунду, ибо "минуту молчания" выдумали люди! Так же неизбежно шла вода и дул "сивер", и растерзанные, неприбранные косо летели облака, и Бог не сделал чуда, и люди не спасли, и с

глинистого обрыва голосила мать, рвала на себе кофту. Лицо ее, голые, только что от корыта, руки, грудь были белы, как расплавленный металл, и люди отводили глаза. Смерть и горе всегда голые и на них стыдно смотреть.

Борис, родной, мне даже здешняя весна опротивела, не из-за этого мальчика, а вообще. Небо здесь то слишком густое, то пустое, вода — бездушна, зелень — скупа, люди — давным-давно рассказаны Горьким. По селу ходят коровы, тощие, как в библейском сне, и глаза у них всех одинаковые, как у греческих статуй. Они объедают кору с осиновых жердей на огородах и трутся спинами обо все телеграфные столбы. По мосткам ходят лошади, отдыхающие перед пахотой, и люди шарахаются в грязь. На завалинках сидят "ребята" и рассматривают проходящих "девичат", на которых надето все, что можно купить в здешнем магазине, так что каждая вторая — в крапинку, каждая третья — розовая, каждая четвертая — в крупных цветах, как лошадь в яблоках, и все — в голубых носках. Над всем этим — слабый, доносящийся из-за реки, запах черемухи и такие же приторные звуки всепобеждающей гармонии.

Сегодня пришел первый пароход. Среди пассажиров, как мне рассказывали девушки, совсем не было молодых и интересных. Один, правда, сошел молодой и хорошо одетый, но поскольку он оказался инструктором крайкома, приехавшим проверять результаты политучебы в первичных комсомольских организациях, то интерес к нему угас, уступив место священному трепету.

День у нас уже круглосуточный, но от этого не легче.

Крепко целую тебя, будь здоров!

Твоя Аля.

27 июля 1953

Дорогой мой Борис, очень беспокоит твое здоровье — и молчанье. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Напиши несколько слов на открытке, мне этого опять будет достаточно месяца на два вперед.

Я живу все так же, и от этого "так же" настолько отупела, что сделалась какая-то обтекаемая, и даже все необычайные происшествия последнего времени не достают до сердца. Наверное, и сердца-то уж почти не осталось.

Июль у нас был по-настоящему жаркий, первый раз за четыре года. По радиосводке погоды Красноярск все время шел наравне с Ташкентом и Ашхабадом. Туруханск тоже старался не отставать. Все расцвело и выросло на целый месяц раньше, чем обычно, — солнце ведь круглые сутки! и все было бы хорошо, если бы не комары и мошкара. Они буквально отравляли существование, оказывались сильнее солнца, голода, сна.

Начинают поспевать ягоды, хожу в лес, но леса не вижу сквозь сетку накомарника и укусы мошки, сосредотачиваясь только на чернике и голубике. Время от времени забредаю в болото или натываюсь на корову, похожую в лежачем виде на бутафорскую скалу. Везде коровы — в лесу, на аэродроме, на кладбище, и уж конечно на каждой улице. А молоко продают только кислое.

Ловлю себя на том, что иногда всерьез рассматриваю в окно клуба прохожих — у кого из знакомых новое платье и "где брали матерьял и почему?" За четыре года узнала в лицо всех местных жителей, сразу распознаю приезжих. Кстати о приезжих — одно время было настоящее нашествие амнистированных, большинство которых устроились в качестве рабочих

в геологические разведки, приезжающие сюда на лето. Они внесли некоторое оживление в нашу однообразную жизнь, ограбив несколько квартир и очистив немало карманов. (Конечно, не все они, а некоторые, те, кому не в коня корм).

В соседней деревне на берегу появился один голый, выплывший из Енисея. Колхозники пожертвовали ему штаны и майку, а потом спросили документы — откуда они могут быть у голого? Голый рассказал, что его амнистировали, что он ехал из лагеря вместе с несколькими такими же товарищами, по дороге они играли в карты, сперва на деньги, потом на хлеб, потом на одежду — кончилось тем, что кто-то проиграл его самого, и в качестве проигранного выбросили с баржи в Енисей. Я его видела — он ходил все в тех же колхозных штанах и ждал работы по специальности. На вопрос о профессии отвечал: "вор-карманник".

В общем, все это ерунда.

Перечитываю сейчас твоего Шекспира, он у многих здесь побывал, и все чернорабочие руки читателей очень бережно к нему отнеслись, книги как новые. А вот Гете гостит по соседним колхозам и наверное вернется — если вернется — в очень потрепанном виде. Ну ничего, пусть читают!

Родной мой, я надеюсь, что у тебя все хорошо и что сердце не тревожит. Мне было бы просто неловко навязываться тебе со всеми своими беспокойствами по поводу твоего здоровья, если бы не огромные расстояния, разделяющие нас; они уничтожают всякую неловкость, оставляя неприкосновенными все беспокойства и все тревоги. Очень прошу тебя, напиши несколько слов!

Твоя Аля.

12 сентября 1953

Дорогой друг Борис! Получила твое письмо и стихи, и хочется сейчас же отозваться, не ожидая несбыточного досуга — и таких же несбыточных настоящих слов. Ты знаешь, я ужасно к тебе пристрастна, и не потому, что это хоть сколько-нибудь в моей природе, а потому, что ты сам не позволяешь иначе — начинаешь тебя читать, и вот уже тобой уведена и тебе подвластна, и все понимаешь и чувствуешь так, как это сказано тобой. И, черт возьми, никогда не знаешь, как это сказано, и почему это именно то самое! У тебя никогда не видно того, что французы метко называют "les ficelles du métier", никаких "приемов", все так просто и просторно, как божий мир, а поди-ка сотвори! Конечно, "подвластна" — совсем не то слово, вот в том-то и дело, что ты никогда не поработаешь и что всегда "печаль твоя светла". Откуда в тебе столько света? где, чем, кем пополняешь ты в себе его запасы? Талант? но он всегда бремя, всегда крест, и большинство творцов хоть часть его возлагают на читателей и слушателей, зрителей, а с тобой всегда легко дышится, будто бы всю тяжесть творчества — да и просто жизни — ты претворяешь в "да будет свет". Я еще не успела как следует вникнуть в твои комментарии насчет биографичности, полу-биографичности или не-биографичности стихов — Боже мой, да ты же всегда ты, за какой год или век тебя ни открой, как ты ни запирайся или не распахивайся. (Написала и засмеялась — вдруг вспомнила картинку в "Крокодиле", сфинкс и подпись: "Все изменяется под нашим зодиаком — но Пастернак остался Пастернаком!") Ты всегда остаешься самим собой и всегда — нов, и, ради Бога прости меня за всю Хиву и Бухару этого сравнения, — напоминаешь

мне солнце — всей своей неизменностью, неизбежностью, светом и неподвластностью критическим подходам облаков.

Предыдущая тетрадь у меня есть. Я туда присоединю и это. А сейчас кончаю, время свидания истекло, скоро напишу еще. У нас было сияющее жаркое лето, оно прошло, но вокруг нашей избушки еще догорают астры и настурции, они здесь не боятся заморозков.

Я устаю и старею, ссыхаюсь, как цветок, засушенный в Уголовно-процессуальном кодексе, и первым признаком того, что действительно старею, является то, что это совсем меня не волнует. Спасибо тебе, целую тебя, горжусь тобой. Будь здоров.

Твоя Аля.

12 октября 1953 г.

Дорогой мой Борис! У нас — долгие темные ночи, короткие дни и тишина необычайная — все замерло в ожидании зимы, а снега все нет. Южный ветер сбивает с толку даже северное сияние. Осень — странная и тревожная, как весна. Ушли пароходы, улетели птицы, на Енисее же — ни льдинки, и на душе — тоже. Так хорошо, когда не по графику, даже в природе! Я недавно перечитывала — в который раз и в который раз по-новому, "Анну Каренину", и в который раз задумалась о твоём — неясном для меня и вместе с тем несомненном — родстве с Толстым. Я не так-то давно (по времени) читала твою прозу, но однообразие моей жизни, изо дня в день засоряемой мелочами, уже заставило меня позабыть многое. Не то что "позабыть", но

потерять ключ к этой вещи, понимаешь? Кстати, зачем тебе понадобилось забирать ее у меня? Я люблю перечитывать, и, как ни странно, с первого раза лучше воспринимаю стихи, чем прозу, а вот как раз твою книгу лишена возможности перечитывать вчитываясь. Я не решаюсь просить тебя о том, чтобы ты мне прислал хотя бы то же самое, что тогда, знаю, что ты не забудешь об этом, когда найдешь возможным. Так вот, вы настолько с ним разные, что говорить о родстве и сходстве кажется даже нелепым, и меня злит то, что я сейчас брожу вслепую и даже нащупать не могу, в чем тут дело. Ах, Боже мой, и главное, что в этом слепом состоянии я нахожусь почти постоянно, все время "по усам текло, а в рот не попало", о том, чтобы не только с д е л а т ь что-то, но хоть бы додуматься до чего-то, не может быть и речи. Эта жизнь, дробленая на мелкие кусочки, размолотая ежедневными, насущными и никому не нужными мелочами, постепенно и неумолимо превращает меня в клинического идиота. Даже ты это замечаешь, несмотря на все мои усилия казаться умницей, и пишешь мне все реже.

Недавно видела в "Огоньке", посвященном Толстому, пастель твоего отца, и столько мне сразу вспомнилось и подумалось, что я бросила работу и опустила руки — весь тот чудесный мир светлых красок и мягких очертаний, вставший передо мной из синего альбома работ Л. О. там, в библиотеке рязанского училища. Как же он умел передавать силу и самобытность при помощи прессованного угля и пастели, как же он сломал и переделал технику пастели, бывшей до того достоянием нежностей и сладостей французского 18-го и немного 19-го века — какой же он был мастер! Я ужасно люблю его иллюстрации к "Воскресению", и твой чудесный портрет, и все о Толстом, все зарисовки, и его Шаляпина. И еще я

я вспомнила белого плюшевого мишку, которого они с твоей мамой подарили маленькому Муру. Мур назвал его "Мумсом" и спал с ним и ходил гулять, и зацеловал ему мордочку до блеска. И еще я подумала о той великолепной круговой и трудовой поруче людей большого дара и чистой души, побеждающей время и временщиков, о великой, неиссякаемой, всепобеждающей силе правды и человечности. Может быть именно в этом — твое родство с Толстым? — Я совсем не об этом хотела писать тебе, ты сам говорил, что писать нужно только о том, что вполне ясно тебе самому, я хотела очень поблагодарить тебя за присланное и извиниться за то, что не написала сразу. Но что же поделаешь, если меня всегда тянет писать именно о нелепом — и именно тебе!

Крепко целую тебя.

Твоя Аля.

12 января 1954

Борис мой дорогой, запоздало поздравляю с Новым годом, желаю тебе здоровья, вдохновенья и побольше возможностей его осуществлять. Я только что получила письмо от Лили — она пишет, что твой "Фауст" вышел, но что в Москве его достать невозможно, а сам он (т. е. ты) не подарил", и просит, чтобы, если в Туруханске можно достать, я прислала ей. Я думаю, что это слишком длинный путь, уж не говоря о том, что здесь конечно не достанешь. Короче говоря, достань ты, и подари ей Фауста ты, и поскорее; она — один из вернейших и благороднейших твоих друзей, да стоит ли об этом упоминать!

Себе-то я не прошу, ты сам пришлешь, когда будет время.

Я ужасно много работаю и устаю, как собака, буквально, т. к. на них здесь воду возят и дрова. Этим только и объясняется мое длительное молчание по твоему безответному — на что, конечно, ничуть не в обиде — адресу.

Но я всегда тебя помню, и ты, наравне с двумя-тремя дорогими мне отсутствующими, все равно всегда со мной, и именно это позволяет мне переживать мое реальное окружение.

У нас зима во всем объеме — моя пятая здесь. И каждую все труднее выносить — не то что они лютее, а просто сил меньше. А главное, что тратишь их бесполезно и нудно. Когда их было побольше, я и не замечала, что трачу их, а теперь замечаю.

А вообще-то все идет хорошо. Особенно меня обрадовало, что Берию разоблачили, и что елку в Кремле устроили, мне даже во сне снилось, что я побывала на обоих этих праздниках.

Целую тебя и люблю. Главное — будь здоров!
Твоя Аля.

20 апреля 1954

Дорогой мой друг Борис! Прости, что я такая свинья и до сих пор не поблагодарила тебя за "Фауста". Благодарить — мало, хочу много написать, и из-за этого совсем ничего не пишу. У меня опять миллион всяких терзаний, меня опять "сокращают" (это уже в третий раз), но я пока еще работаю — и очень много —

на неизвестных правах. Надоело все это до одури, я устала и отупела, еще и поэтому не пишу тебе. Я напишу, когда немного приду в себя, а сейчас мне просто очень трудно и беспросветно.

Фауст же меня просто ошеломил. Работа гигантская, талантливо необычайно, и, ты понимаешь, с одной стороны жаль ужасно, что столько труда, времени и себя ты вложил в Гете, лучше бы в свое, а с другой — как хорошо, что это сделано именно тобой. Какой ты молодец — талантливый и трудоспособный, а ведь в России это сочетание встречается раз в столетие, да и то не в каждое. Я очень по-хорошему завидую тебе, за то, что ты — такой, я не только "бы" не могла, — я уже не могу! Только читать умею. Но в Туруханске и это — редкость! Кстати, здесь есть человека четыре, которые очень любят тебя и читают все твое, что можно достать, сетуют, что только переводы. Сейчас Фауст переходит из рук в руки. Я очень дорожу твоими книгами, и м. б. поэтому охотно даю их читать. Скоро ли будет печататься твое? Думается, что скоро. Самое-то чудесное, что тебя и так любят. Когда ты болел и долго не писал, я спрашивала о тебе знакомых, знающих тебя по книгам и понаслышке (потому что общих знакомых у нас почти нет), и мне все отвечали словами любви и внимания к тебе — звонили в больницу, узнавали о тебе, а, да что там говорить, ты и сам знаешь, а не знаешь, так чувствуешь.

Напишу тебе более или менее по-человечески в начале мая (как та гроза), а пока еще раз спасибо за Гете и за тебя.

Целую тебя.

Твоя Аля.

Книга чудесно издана, и это тоже радует!

3 июня 1954

Дорогой друг Борис, прости, что так долго не писала тебе. Получив твое письмо, я почему-то сразу очень обиделась на него, и хотела выбрать свободный час, чтобы наговорить тебе уйму любящих дерзостей. И я это непременно сделаю со временем, когда и если приду в себя. Дело в том, что я узнала о гибели С.Д.¹⁵ О болезни его я узнала в прошлом году, но надеялась на выздоровление. Теперь уж надеяться не на что. Знаешь, милый, мне уж давно трудно живется, я никогда не могла, не могу и не смогу свыкнуться с этими потерями, каждый раз от меня будто кусок отрубают, и никакие протезы тут не помогут. Живу, как будто четвертованная, теперь осталось только голову снести, тогда все!

А впрочем, я, кажется, уж давно без нее обхожусь.

Кстати, жена его уже вышла замуж. Она, видимо, без протеза не может, или, м.б. сама — протез?

Все же остальное без перемен. Лед идет, летят гуси и еще какая-то мелочь, вроде снегирей. Эти малыши над водой летают низко, и отражение — как будто стайки рыбок, и я мгновенно представляю себе мир вверх тормашками, Енисей, отражающийся в небе, и рыб, отражающихся птицами.

Видимо, впадаю в детство.

Весна серая, пасмурная, очень холодная. Такое и лето пророчат. И в самом деле, зачем понадобилось Ермаку ее открывать?

Мне сказали, что в четвертом номере "Знамени" что-то твое напечатано, но в библиотеке невозможно добиться, все время журнал на руках.

Попыталась прочесть "Бурю" Эренбурга, но никак не смогла. Язык у него какой-то переводной, не русский, и бесвкусица тоже какая-то переводная ("Ста-

рик Дезирэ признавал только две вещи — коммунистическую партию и хорошее вино” — ”моя жена на зимнем спорте” и т. д.). Масса раздробленных эпизодов — похоже на немое кино с громкими комментариями. Прочла с удовольствием ”Дипломата” Олдриджа. Читал ли ты? По-моему, хорошо.

Родной мой, целую тебя и люблю. Напиши мне несколько словечек.

Твоя Аля.

Мне даже и не тоскливо, сама не знаю, чем я перенасыщена и что во мне выкристаллизировалось. Я наверное просто превращаюсь в соляной столп на полпути между Содомом и Гоморрой и Иерусалимом. Пиши столпу, он ведь все же хороший человек!

22 июля 1954

Дорогой друг Борис! Большое спасибо тебе за присланное и за письмо. Я знаю, насколько трудно было осуществить и то, и другое — особенно в такую жару. Да и вообще. Не смогла написать тебе раньше, т. к. меня ”угнали” в соседний колхоз на заготовку силоса и я оттуда вернулась еле живая от усталости и новых впечатлений.

Вот уж действительно край света и почти его конец. Избы завалились, обвалились, провалились, но все еще держатся и в них все еще живут — а самое страшное это то, что на них еще сохранились всякие дореволюционные наличники, ставни, петушки и прочие отсталые украшения. И всюду следы чего-то,

как после землетрясения — вот здесь была церковь, но ее разобрали, а тут — пекарня, но она сгорела, и т. д.

Именно там до революции находился Туруханск — место ссылки, а здесь, где мы сейчас живем, было село Монастырское. Деревня (по-здешнему станок) стоит не на Енисее, а на маленьком его притоке, Турухане, и жители жалуются, что скучно живется — даже паромов не видать. В этом году колхоз впервые организовал детские ясли — они находятся в том же помещении, где колхозная контора, красный уголок и заезжая. Заведующая печет на железной печке оладьи, на помосте для сцены сидят, как истуканы, две няньки-девчонки в красных платьях и держат на коленях по грудному младенцу. Младенцы — калмыки, и тоже в красных платьях, и тоже, как истуканы. Остальные дети (все, как один, без штанов) с увлечением ползают по грязному полу и отбирают друг у друга оладьи и единственную игрушку — поломанный фуганок. В одном углу играют на гармошке, в другом — огромная рыжая немка ругается с колхозным счетоводом, тихим грузином, который в прошлом году надеялся лишь на то, что в юные годы дружил с Лаврентием,¹⁶ а в этом — не знает, на что и уповать. Причем, все эти подробности можно разглядеть только через сетку накомарника, т. к. и небо, и земля, и избы, и ясли, и дети, и оладьи, и счетовод, и его мечты, и вообще все на свете скрыто тучами комаров. Да, товарищи. . .

После долгих хлопот и ожиданий я, наконец, добралась до "Знамени" с твоими стихами, очень обрадовалась им и тебе. Дорогой друг мой, если бы ты знал, как изболелось мое сердце по твоей судьбе — и как я горда ею! По-матерински я вечно "молюсь о чаше", и вместе с тем — прости и пойми меня! горжусь и радуюсь тому, что она, предназначенная величайшим и достойнейшим, не минула тебя. Ты сам это знаешь, и

в конце концов велика ли беда говорить с потомками, перешагнув через современников? И велика ли беда в том, что, пока история движется спиралеобразно, лучшие идут по прямой?

У меня все по-старому. Устала я донельзя. Говорят, что есть какое-то постановление от 31 мая о снятии ссылки со всех нас, но всякое счастье хорошо вовремя — боюсь, что у меня нет сил опять все начинать сначала — куда-то ехать, где-то искать работу в таком возрасте, когда у каждого нормального человека уже есть квартира, дача, прислуга, и, за неимением детей, хотя бы внуки. А я, бедная, все только "начинаю жить" и, как Агасфер, кочую от окраины до окраины.

Целую тебя, мой родной. Напиши мне, когда это не будет трудно.

Твоя Аля.

20 августа 1954

Дорогой друг Борис! Во первых строках моего зеленого письма сообщаю, что мы получили официальное сообщение о том, что реприманд с нас снят, и что мы получим в течение сентября паспорта (такие, какие у нас были до поездки, т. е. на тройку с минусами, но все же и за то спасибо). И вот мы думали-думали с Адой (с которой вместе приехали из Рязани и вместе живем все эти годы) и решили эту зиму, до следующей навигации, зимовать здесь. Ехать нам фактически некуда, у нас, кроме Москвы, нигде никого, и ехать куда-то наобум, думается, просто

немыслимо. М. б., Бог даст, за зиму дождемся реабилитации, тогда все значительно упростится, а если нет, то постараемся разузнать насчет возможной работы для Ады и для меня (она — преподаватель вуза — английский язык), я — сама не знаю. За зиму постараемся подкопить денег на выезд, на продажу нашей хатки надежда невелика, уезжают очень многие, продают все — все, а покупать некому. Как ты думаешь? Одобряешь ли такое решение? Если не был бы такой безумный тариф у самолетов, я непременно прилетела бы в отпуск в Москву зимой — это разрешается, но на такую *partie de plaisir* нужно не меньше двух тысяч, которые при большом желании можно было бы собрать, но тогда опять летом не выберешься! Очень уж хочется поскорее со всеми вами увидеться, тут мне дорог каждый день за все эти годы.

Вторая новость — у меня обнаружили *tbc*, к счастью не в открытой форме. Тут только я и поняла, почему я весь последний год так плохо себя чувствовала, вечно была слабой и усталой. Ездила на покос, видимо переутомилась, и сейчас же получилась вспышка, долго пролежала с высокой температурой, теперь она понизилась, но в норму еще не входит. Не работаю второй месяц. Здесь, на севере, есть всевозможные, в других местах трудно находимые, лекарства и препараты, глотаю всякую горечь, в которую не верю (по старинке верю в овсянку, масло и в "как господь"), и дважды в сутки — стрептомицин. Уверена, вместе с царем Соломоном, что "и это пройдет", ибо из всех моих качеств самые явные — это верблюжья выносливость и человеческое терпение. (Об остальных качествах мама говорила: "Мудра, как агнец, и кротка, как змий").

Я с ужасом думаю об этих пяти прошедших годах, за которые я ничего не сделала, только "боролась за

существование” — добро б за жизнь, а то именно за существование, за прозябание. Где я возьму силы на дальнейшие устройства и переустройства? У меня их совсем нет, о пережитом (за себя и за других) не расскажешь. Дорогой мой, я смотрю на полку, где за эти годы выросло столько твоих книг (не считаю романа), и думаю, какой же ты герой, какая же ты прелесть. Я ведь знаю, чем были эти годы для тебя. И все это — *malgré tout et quand-même!* Да что об этом говорить! Мне кажется, мы настолько понимаем друг друга, что можем обходиться мыслями, без слов. Но, черт возьми, поговорить все-таки очень хочется! (Мне. Тебя же придется уговаривать, чтобы поговорил. Ты занят!)

Крепко целую тебя и люблю.

Твоя Аля.

29 августа 1954

Дорогой друг Борис! Сегодня я получила от маминей приятельницы, бывшей с ней в Елабуге (ты когда-то советовал к ней обратиться, чтобы узнать о маме), полторы тысячи, т. е. как раз столько, сколько стоит самолет Туруханск—Красноярск и обратно, а на поезд я наберу (у меня лежит большая часть присланных тобой денег — на книжке), так что одно чудо уже есть, и я, если все будет благополучно, смогу ненадолго приехать в Москву в отпуск. Вернее всего в ноябре. И тогда я отниму у тебя, у романа, у переводов, у семьи (твоей) и у всего на свете два часа, которые я не только заслужила, но и выстрадала. Я прилечу и при-

еду только для того, чтобы увидеть Лилию и тебя, единственную семью души моей, и поэтому сгони сейчас же с лица недовольное выражение. Я знаю, ты не выносишь вторжений, особенно в последнее время, но я все равно буду Атиллой и вторгнусь, предупреждаю тебя заранее, чтобы ты свыкся с этой мыслью. М. б. только час, м. б. полчаса, чтобы не утомлять тебя.

Итак, весной будущего года вновь буду корчеваться и пересаживаться в иную почву — еще не знаю, в какую — Бог мой, какая я стала мичуринская и морозоустойчивая за эти годы, как я привыкла к почвам песчаным и каменистым — привьюсь ли я в нормальном климате, и что из всего этого получится? Цветочки? Ягодки? или это все уже позади? Кстати, на воскреснике, на котором я, собственно говоря, и заболела, кто-то из участников, увидев прокурора, возвращавшегося с покоса с букетом цветов, воскликнул: "вот и цветочки, а ягодки впереди!" Это — эпитафия дружбы с прокурором.

Я еще не работаю, меня лечат до одури, единственный ощутимый результат, помимо стоимости всех этих препаратов, — синяки на всех тех местах, куда делают уколы. Терплю все из уважения к лечащему меня фтизиатру (в прошлом — санитарному врачу), но без малейшей уверенности в том, что меня лечат от того и тем.

Опять наговорила уйму глупостей. Прости.

Целую тебя и люблю, и как же я по тебе стесковалась! Главное, будь здоров, а остальное — приложится.

Твоя Аля.

24 сентября 1954

Дорогой друг Борис! Прости, что не сразу ответила тебе, мой бюллетень кончился и я вышла на работу как раз в такое время, когда все остальные сотрудники оказались мобилизованными в колхоз на уборку картофеля, и мне одной пришлось отдуваться сразу за всех, т. е. два раза в неделю мыть полы (за уборщиц), ежедневно топить печи (за истопника), стоять у дверей вместо контролера, получать и сдавать деньги в банк, и... обеспечивать идейность и качество проводимых мероприятий. Было очень весело и публике, и мне! Наконец все вернулись и начали по-прежнему дружно дармоедствовать, а я вернулась в свое русло.

Страшно благодарна тебе за твое приглашение, это действительно будет чудесно, а также и то, что за короткий отпущенный мне срок я надеюсь просто не успеть тебе надоест. Я начинаю свыкаться с дивной мыслью, что то, о чем так недавно не смела и мечтать, возьмет да осуществится. У меня еще одна радость, правда, это еще не совсем сбылось, но почти. Я получила от Аси очень тяжелое письмо о том, что ей некуда ехать и кто-то приглашавший приглашение отменил, и что у нее нет постоянных, пусть небольших, средств к существованию, и что комендатура, поскольку отпала ссылка, лишила ее инвалидного пособия, и т. д. Я сходила здесь в собес, разузнала насчет пенсии. Оказывается, не имея 20 лет стажа рабоч. в ее возрасте (стаж-то у нее есть, но несомненно нет о том справок), она, в сельской местности, может рассчитывать на пенсию... в 18 руб. ежемесячно! Думала, думала, что мне делать, увидела в "Литературной газете", как Эренбург целует какого-то зарубежного демократа, и написала ему об Асином положении — неужели нельзя организовать какую-то регулярную, пусть небольшую,

помощь через какой-нибудь Литфонд? Я не очень рассчитывала на ответ — он так омастител за эти годы, и тем более была тронута и обрадована, когда он отозвался немедленно и сердечно. Он говорил об Асе с Леоновым, председателем правления Литфонда, и тот обещал поставить вопрос о пособии ей на правлении, и надеется, что это будет улажено скоро и как надо. И я тоже надеюсь. Это было бы чудесно, и Ася чувствовала бы себя лучше, крепче, увереннее, зная, что может ежемесячно располагать определенной суммой-минимумом, а остальное всегда приложится. Самое страшное, это когда ко всему пережитому и переживаемому еще нужда, еще страх за завтрашний кусок хлеба, и это в ее возрасте, при ее состоянии здоровья, при ее одиночестве.

С сегодняшнего дня и по 7 ноября у меня сумасшедшая работа, а потом, даст Бог, сразу Москва! Бывает же так! Меня — невероятно ругают все (кроме тебя и Лили) за эту дикую затею: мне! ехать! в отпуск! мне! тратить! такие деньги! Мне же надо копить! Мне же надо выезжать тихонечко, скромненько, дешево, и, главное, "куда-нибудь"! Все советуют "куда-нибудь" выехать, "где-нибудь" устроиться, и, главное, немедленно бросить Аду, с которой я живу здесь шестой год, она была хороша, пока помогала мне в трудных условиях, а сейчас, мол, каждый сам по себе, мне, мол, помогут, а она как хочет. Боже мой, ну никто не понимает, что я так заработала, так заслужила такой отпуск, и пусть добрые деньги, данные мне, хоть раз в жизни пойдут не на хлеб насущный, а просто на радость.

Кроме того, мне как-то предчувствуется, что я скоро сама буду зарабатывать как следует. Правда, совершенно не представляю себе, как и чем,

но это непременно будет. Ах, мне бы реабилитацию!

Спасибо тебе, родной. Неужели я тебя скоро в самом деле увижу? Я не буду тебе мешать, я очень тихая.

Целую тебя.

Твоя Аля.

Туруханск, 10 января 1955

Дорогой Борис! Как видишь, я вдоволь наговорила с тобой мысленно, прежде чем принялась за письмо. Туруханск вновь принял меня в свои медвежьи объятия, по-прежнему не оставляя времени ни на что, кроме работы. А ее за мое отсутствие накопилось столько, что я, разленившись во время отпуска, никак не могу ее осилить и по-настоящему войти в колею. Находившись, наездившись и налетавшись по большим дорогам, все не привыкаю к туруханской узкоколейке, спотыкаюсь на тропках, проваливаюсь в сугробы, работаю наощупь, думая о другом. А мысли мои, как и все бабьи мысли, идут ниоткуда и ведут в никуда, что и является основным моим несчастьем. Таким образом всю жизнь я делаю всякие нелепые вещи, которые осмысливаю лишь спустя, и постфактум подвожу под них фундаменты оправданий.

Дорогой друг мой, я бесконечно счастлива, что побывала в Москве и вновь встретила с тобой. Мы видимся очень редко, между нашими встречами такие события и расстояния, что история их вмещает с трудом. А мы — сколько же мы вмещаем,

сколько же у нас отнято и сколько нам дано! Из последних твоих, мне известных стихов, пожалуй, самое мое любимое — это Гамлет, где жизнь прожить не поле перейти. А из наших встреч — каждая — самая любимая. И тогда, когда ты так патетически грустил в гостинице (я как сейчас помню эту комнату — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем — стопка неразрезанных книг издания NRF, а сверху — апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. Ему жарко и он босиком). И тогда, когда мы с тобой сидели в скверике против Жургаза, вскоре после отъезда Вс. Эм. Кругом была осень и были дети, кругом было мило и мирно, и все равно это был сад Гефсиманский и моление о чаше. Через несколько дней и я пригубила ее. И тогда, когда я приехала к тебе из Рязани, и твоя комната встретила меня целым миром, в который я не чаяла вернуться — картинами отца, Москвой сквозь занавески, и еще на столе была какая-то необыкновенно красивая синяя чашечка (просто чашечка, а не из того сада!), резко напомнившая мне детство — если у моего детства был цвет, то именно этот, синий, фарфоровый! Помнишь мамин цикл стихов об Ученике? Так вот, всегда, когда встречаюсь с тобой, чувствую себя твоим Учеником, настоящим каким-то библейским Учеником, через времена, пространства, войны, пустыни, испытания вновь добредшим до Учителя, как до источника. Скоро опять в путь, а кругом — тишина. Время притаилось, готовясь к прыжку. И вот теперь вновь мы встретились с тобой, и опять я слушала тебя и смотрела в твои неизменно-золотые глаза. Пожалуй, не было бы сил все глотать и глотать из неизбывной чаши, если бы не было твоего

источника — добра, света, таланта, тебя, как явления, тебя, как Учителя, просто тебя.

Все остальное было тоже очень хорошо, и твоя дача, о которой З. Н. говорит, что она куда лучше Ясной Поляны, и тихие сосны вокруг дачи, и, главное, тоненькая рябина, усыпанная ягодами и снежками. Очень все было хорошо, я страшно рада, что побывала у вас.

Ливанова вспоминаю с удовольствием. Он таким чудесным, отчетливым, сценическим шепотом говорил мне такие ужасные вещи про каких-то академиков, там, за таким чинным столом, что показался мне Томом Сойером по содержанию и Петром Великим по форме (в воскресной школе и на ассамблее). Впрочем, приятно все это было постольку, поскольку он напал именно на академиков, а не, скажем, на меня. Тогда бы мне, конечно, не понравилось.

У нас вторую неделю непрерывные метели, что ни надень — продувает насквозь. За водой ходить — мученье, дорогу перемело, сугробы. Стараемся пить поменьше, а умываемся снегом (конечно, растопленным). Но все равно все хорошо.

Напиши мне словечко, скажи, как тебе живется и работается. Я просто вида не показала, насколько я была уязвлена тем, что ты мне ничего не прочел и не дал прочитать своего нового. Конечно, я сама виновата. А очень просить тебя не стала, чтобы ты не воспринял это, как "голос простых людей" (по Гольцеву).

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля.

Передай мой сердечный привет Зинаиде Николаевне.

24 марта 1955

Дорогой мой Борис, спасибо! Рада, рада была увидеть твой летящий почерк, прочитать твои милые слова. Очень беспокоило твое молчание. Такие расстояния всегда порождают тоску и беспокойство. Ну, а насчет денег — они всегда радуют, потому что они — деньги, и всегда печалят, потому что напоминают о твоей ради них работе, оторванном от основного времени, обо всех твоих изживенцах, обо всем том, о чем не хочется думать.

Вообще спасибо тебе за все!

Живу нелепым галопом, работаю как заводная, и так же бессмысленно. Нет времени собраться с мыслями, причем боюсь, что если бы время нашлось, то не оказалось бы мыслей. Мне всегда недостает ровно половины до чего-то целого. Насчет будущего ничего не решила, жду окончательного ответа от прокуратуры, сколько ждать еще — неизвестно, а главное — неизвестно, каков будет ответ. И ничего я не могу уравнять с этими двумя неизвестными. Так и живу машинально. Все более или менее осточертело, кроме природы. День прибавляется, прибывает, как полая вода, в лыжнях, колеях, оврагах лежат весенние, синие тени, с крыш свисают хрустальные рожки сосуллек, и солнце, с каждым днем набирая сил, поднимается все выше и выше, без заметного труда. Так все это хорошо, так нетрунито, бело и просторно! И небо, белое с утра, голубеет к полудню, доходя к вечеру до нестерпимого ультрамарина, и потом сразу ночь. И тоска здесь своя, особенная, непохожая ни на московскую, ни на рязанскую, ни вообще на тоску средней полосы! Здесь тоска лезет из тайги, воеет ветром по Енисею, исходит беспросветными осенними дождями, смотрит глазами ездовых собак, белых оленей, выпуклыми, карими, древне-греческими

очами тощих коров. Здесь тоска у-у какая! Здесь тоска гудит на все пароходные лады, приземляется самолетами, прилетает и улетает гусьями-лебедями. И не поет, как в России. Здесь народ без творчества, без сказок и напевов, немой, безвыходный, безысходный.

Но — тоска тоской, а забавного много. Например — заместитель председателя передового колхоза им. Ленина — шаман, настоящий, воинствующий, практикующий! Именно он и осуществляет "связь с массами", и, прочитав над ними соответствующие заклинания, мобилизует их на проведение очередного мероприятия, вроде заключения соцдоговора о перевыполнении плана пушнозаготовок.

А вот тебе стихотворение, при мне написанное очень милой девушкой "с образованием" одному тоже очень милому молодому человеку, на подаренном снимке:

”Быть может нам встретиться не придется,
Настолько несчастная наша судьба.
Пусть на память тебе останется
Неподвижная личность моя”.

На каковой личности и заканчиваю свое, неизменно нелепое, письмо.

Целую тебя и люблю. Привет всем твоим.

Твоя Аля.

Как отмечал В. Иванов свой юбилей? Никто из гостей не помешал? А жаль!

Туруханск, 28 марта 1955

Дорогой мой Борис, можешь меня поздравить, получила реабилитацию. Дело пересматривалось без

нескольких дней два года, за которые я уж и ждать перестала. Прекращено дело "за отсутствием состава преступления". Теперь я получаю "чистый" паспорт (это уже третий за год) и могу ехать в Москву. Я так удивлена, что даже еще не очень рада, еще "не дошло".

Впрочем, до меня зачастую "не доходит" вовремя, и поэтому в години сильных переживаний смахиваю, в отношении эмоций, на скифскую (или какую там!) каменную бабу.

Так что, наверно, с навигацией поеду в Москву, где у меня ни кола, ни двора, и тем не менее я считаю ее своею.

Одним словом, "и ризу влажную свою сушу на солнце под скалою".

Боренька, даже если я буду близко, я никогда не буду тебе мешать работать, не буду навязываться к тебе в гости и даже не буду звонить по телефону (это все после того, как сгоряча продемонстрирую тебе свой еще один паспорт и расцелую тебя по приезду). Ну а если так пройдет слишком много времени, то я тебе, по старой привычке, напишу очень талантливое письмо, и ты сам позвонишь мне по телефону, и скажешь, что очень занят и очень любишь меня. И всегда собираюсь написать что-то толковое, и сбиваюсь на чушь!

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

21 июня 1955

Дорогой Боренька, вот уж неделя, как я приехала. Очень хочу тебя видеть, т.к. от тебя давным-давно ни ответа, ни привета. Только Журавлев немного расска-

зал о тебе. Напиши, пожалуйста, когда к тебе можно приехать, чтобы почти что не помешать, и как к тебе добраться — ты однажды объяснял, но я забыла, т. к. приехала тогда на машине, а то письмо, где объяснял, идет багажом вместе с остальным, и еще не прибыло в Москву.

Крепко, крепко тебя целую. Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Твоя Аля.

Я живу в Мерзляковском — 16 кв. 27, на всякий случай телефон К-4-95-71 (уже прописали — и даже с улыбкой!)

17 августа 1955

Дорогой Боренька, одна пачка бумаги и рулон уже у Марины Казимировны (я тогда не знала, что нужно отдать обе пачки. Думаю, что пока ей достаточно и одной, а когда потребуется, передам и вторую). Мы с Зиной были (с Зинаидой Митрофановной) в Дрезденской галерее, и там Зина встретила Марину Казимировну¹⁷ и привела ее к нам. Она мне очень понравилась, я рада, что именно она печатает твои вещи. Только меня пугает ее горло и ее худоба — не рак ли у нее? Асе я сегодня написала, и про Магдалину тоже, как сумела. Получила от нее открытку, на днях она ждет Андрея, который должен приехать в отпуск на 2—3 недели. Что это за отпуск "оттуда"? Не понимаю. В "дедушкином музее" познакомилась со старушкой, вдовой архитектора, строившего музей. Она работает там с 1912 года, знала и деда, и маму, и Асю. Рассказала мне, что сберегла в

самые трудные времена (и у музейев бывают такие) дедушкин архив — около девяти тысяч писем, и многое другое. Очень хвалила теперешнего директора музея и посоветовала мне обратиться к нему с просьбой о том, чтобы музей ходатайствовал о пенсии для Аси. Остановка за небольшим — директор в командировке в Китае! Но за старушку буду держаться, т. к. очень мне хочется добиться этой пенсии, и именно через музей. Асе была бы и постоянная помощь, и постоянная радость.

Я тебе вот что хотела рассказать: когда мне было лет 14, я прожила целое лето в бретонском городке Roscoff — очень старинном, как все бретонские города. Там была церковь почему-то в мавританском стиле, а колокола, что на звоннице, были когда-то принесены из Англии двумя дельфинами, в это все жители верили, и я тоже.

Там все было серо-голубое, как голубиная грудка — и старые дома, и дороги, и небо, и океан, и погода, и даже ветер, постоянный, как в Туруханске. Во время *marée de l'équinoxe* океан отходил на километры, и до ближайших островов можно было дойти посуху, а потом возвращался и обрушивался на берег, на кладбище, которые в Бретани все с видом на море! и на ближайшие дома, а один из самых ближайших к морю был дом Марии Стюарт. Она жила в нем, будучи невестой дофина. Океан налетал с грохотом и отступал с грохотом, точно сам был обут в сабо, как все бретонцы. Дом был трехэтажный, высокий и узкий, в середине — от земли и до крыши, стоял резной деревянный столб, становой хребет всего дома, резной, коричневый. Там, между гроздьев винограда и виноградных листьев, пробирались маленькие святые с большими руками и большими грубыми лицами, в негнущихся одеждах. Вокруг столба шла винтовая лестница. Комната Марии была на самом верху, и все три узких высоких окна глядели

на океан, и она оттуда глядела на океан. Переплеты оконные были мелкие-мелкие, как раз чтобы прижаться лбом. Внизу был старый порт, и слева — часовенка, воздвигнутая дофином для того, чтобы его невеста за него молилась. В те времена Roscoff был крупным торговым портом. Да, так это я все к тому, что тогда, там, благодаря этому городу и этому дому, и благодаря тому, что есть на земле места, где время останавливается, и его можно просто взять голыми руками, — я и узнала ту, настоящую, живую и простую Марию Стюарт, о которой еще ничего не написано. (Это "ничего не написано" просто наглость с моей стороны! М. б. просто мною ничего не прочитано? У нас в квартире есть такой молодой человек, который говорит: "Я не помню, в чем заключается учение Дарвина, но я с ним не согласен!") Я поняла тогда просто, что это было так недавно, так близко! Нам все в жизни портят расстояния и пьедесталы. Т. е. не все, конечно, а очень многое. Да, да, совсем недавно жила она в том доме и смотрела в то окно на тот океан. И писала стихи — "Adieu, mon doux pays de France". И мне она так близка, как будто бы не тогда когда-то ей отрубили голову, а вот сейчас недавно расстреляли, и давно прошедшее так же непоправимо, как недавнее, и сегодняшний день так же неотвратимо нелеп, как вчерашний.

Вообще же мне все стало таким близким, как перед смертью. Почему? Да, так вот, мне ужасно хочется прочесть твой перевод "Марии Стюарт", когда это будет возможно. Мне хочется узнать, жила ли шиллеровская Мария в том доме, в котором я ее узнала? О, женские жизни, женские судьбы, женские казни! Ты знаешь последнее письмо Шарлотты Кордэ? Вот оно:

"Pardonnez-moi mon cher papa d'avoir disposé de ma résistance sans votre permission, j'ai vengé bien d'innocentes

victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres, le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran, si j'ai cherché à vous persuader que je partais en Angleterre, c'est que j'espérais garder l'incognito, mais j'en ai reconnu l'impossibilité. J'espère que vous ne serez point tourmenté, car je crois que vous aurez des défenseurs à Caen, j'ai pris pour défenseur Gustave Doulat, un tel attentat ne permet nulle défense, c'est pour la forme. Adieu, mon cher papa, je vous prie de m'oublier ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la cause en est belle, j'embrasse ma soeur que j'aime de tout mon coeur ainsi que tous mes parents, n'oubliez pas le vers de Corneille:

le Crime fait la honte et non l'Echafaud

C'est demain à huit heures que l'on me juge, le 16 Juillet."

Боренька дорогой, я так и не поняла насчет романа: значит ли это, что его можно читать в рукописи? Т. е. что ты разрешаешь? Если да, то я боюсь трогать рукопись, ведь не дай Бог что случится, ведь это не восстановимо, даже подумать страшно. М.б. можно перепечатанное читать — по мере того, как М. К. будет печатать, и до того, как она отдаст тебе все экземпляры, которые у тебя сейчас же разойдутся? Я так суеверна насчет рукописей, на маминых просто сижу и никому даже не показываю, чтобы не потерять, не утащили или не сглазили. А тут нужно будет и Лиле на дачу свезти и с ней почитать — с копией же ничего никогда не случится. Если только возможно, напиши мне открытку насчет этого.

Крепко тебя целую и люблю.

Твоя Аля.

М. б. ты М. К. еще не печатать дал рукопись, а читать? Ты, почему-то, пишешь о том, что бумагу ей можно отдать потом. Или у нее сейчас просто есть бумага для работы?

Болшево, 20 августа 1955

Дорогой Боренька, сейчас разбираю мамины стихи, и захотелось мне напомнить тебе этих "Магдалин" — все те же волосы, о которых ты мне говорил, и те же грехи!

Крепко тебя целую, и Лиля и Зина тоже шлют привет.

Твоя Аля.

В маминых записных книжках и черновых тетрадях множество о тебе. Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как долго — всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая. Тех, кого преувеличивала, потом, перестрадав, развенчивала.

Магдалина

1

Между нами — десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне — чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех. . .
(Чужая кровь — желаннейшая
И чуждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась — светла
Мать! — очесами демонскими.
Таясь, лила б масла

И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески. . .
Страсть по купцам распроданная,
Расплеванная, — теки!

Пеною уст и накипями
Очес — и потом в с е х
Нег. . . В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех!

Некою тканью под ноги
Стелюсь. . . Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: "Встань, сестра!"

26 авг. 1923 г.

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы, — сплошное
Иструение, а тот

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
— Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

31 августа 1923 г.

3

О путях твоих пытаться не буду,
Милая! — ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав. . .
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна. . .
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла
Как волна.

3 октября 1955

Боренька, нашла в маминой записной книжке (м. б. это вошло в ее прозу о тебе? не знаю — не перечитывала лет 20).

”Есть два рода поэтов: парнасцы и — хочется сказать — везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем (NB! Взрыв — из всех явлений природы — менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответ. Б. П. взрывается сокровищами”.

Боренька, а ведь это о твоём романе (хоть запись и 1924 г.!)

Как-то ты живешь, мой родной? Целую тебя и люблю.

Твоя Аля.

Ты мне ничего не ответил о романе: переписывается ли, переписан ли, когда и как можно прочесть?

3 апреля 1957

Боренька, дорогой, знаю о тебе все, что возможно, угадываю все остальное. Знаю, что теперь дело пойдет на поправку — уж так мы все загораживаем и заворачиваем тебя от болезни! Главное, ни о чем не тревожься (самый глупый из всех человеческих советов и самый невыполнимый!) — но в самом деле все у нас всех хорошо, и, главное, денег на всех и на все хватает. Так что эти хотя бы заботы выбрось из головы.

Весна идет, мой дорогой, прилетели и грачи, и жаворонки, и скворцы, скорей поправляйся. Я была два дня в Тарусе и слушала все голоса, которые передать умеешь только ты — и почти зримый узор жавороночьей песенки в пустом чистом небе, и как невидимый под снегом ручеек полощет себе горлышко, и как петухи перекликаются, все, все слушала, еще не пересказанное тобой в стихах.

Скорей поправляйся, будь тверд и силен нашей верой и любовью.

Я рада, что ты в кремлевской больнице, тебя там скорее вылечат, чем где бы то ни было, а тем не менее

жалко, что ты не дома, и нельзя к тебе прокрасться и убедиться еще и еще раз в том, что, несмотря на все страдания, ты светел и хорош, и красив, и вечно молод, и дай тебе Бог поскорей поправиться, и нам поскорей увидеться и прости за бред сивой кобылы, и целую тебя, родной, пусть у тебя ничего не болит.

Наши Лиля и Зина тебя целуют и любят. Большой привет просила передать Любовь Михайловна Эренбург накануне отъезда в Японию ("сам" уже там) и пожелания скорого выздоровления.

Твоя Аля.

28 августа 1957

Дорогой мой Боренька! Тысячу лет не писала тебе, но знала основное — что ты чувствуешь себя лучше. Слава Богу. Еще в один из коротких приездов в Москву узнала в Гослите, что твоя книга стихов непременно выйдет в этом году. А вот что хотелось бы узнать: сильно ли изменился ее состав, и что с предисловием? Напиши мне хоть две строчки о своих делах. Очень мило по сибирской инерции продолжать держать тебя в душе — и только, но там ведь к этому меня обязывали расстояния, и еще всякие другие непреодолимости, а сейчас ведь по-другому ("Так — никогда, тысячу раз иначе!"), и, пожалуй, нет никакой нужды совсем не видеться и даже не переписываться!

Милый друг мой, как ты живешь, как твоя поясница, как колена? Что ты делаешь? Что, помимо слухов, на самом деле, с книгой стихов и с предисловием?

Как "Доктор"? И еще: что говорят доктора? И еще: как ты выглядишь? Ходишь ли гулять?

Я в Тарусе, видимо, недалеко от того имения, о котором ты упоминаешь в своем предисловии, в той самой Тарусе, где прошло детство и отрочество маленьких Цветаевых, где все прошло, кроме, вопреки пословице, окской воды. Собор, где кто-то из Цветаевских прадедов моих был священнослужителем, теперь превращен в клуб, в прадедовском доме артель "вышивалок", в бабкином — детские ясли, вместо старого кладбища — городской сад. Домик, в котором росли мама и Ася — уцелел почти неизменный, там живет прислуга и "обслуга" дома отдыха. До Цветаевых там жил — и умер — Борисов-Мусатов, мама рассказывала, что в комнате, отданной детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова: последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнаты в мезонине служили ему палитрой. — Но в чем же дело? Почему именно река остается неизменной? Почему уже давно не та вода остается той самой рекой? Нет больше никого из живших здесь — никого больше! Ни Вульфова, ни Цветаевых, ни Поленова и Борисова-Мусатова, ни милого Бальмонта, ни милого Балтрушайтиса, ни многих-многих единственных! А река остается — и теперь я смотрю на нее, и, благодаря ее неизменности, вижу, осязаю, пью из того источника, который оказался творческим для мамы. Вот это все она видела впервые и на всю жизнь, здесь родились ее стихи, родились, чтобы не умереть. Вот они, рябина и бузина всей ее жизни, горькие ягоды, яркие ягоды. Вот и деревья, у которых "жесты трагедий", и река — жизнь, Лета, и все равно жизнь.

А все же я до многого дожила — спасибо судьбе, Богу и людям. Дожила до встречи с тобой, и вот

теперь до встречи с самими истоками маминой жизни и ее творчества, дожила до собственной своей предистории! Дожила и до того, что прочла твой роман, и предисловие к стихотворной книге, где так глубоко и просто о маме — ведь все это — чудеса из чудес, и, когда хочется немного поворчать — чудеса останавливают меня и не позволяют мне быть мелочной. . . Ах, Боренька, все-то мы мелочны! Ведь важно, чтобы **н а п и с а н о** было, ведь именно в **э т о м** чудо, а мы еще хотим и издания написанного, т. е. чуда в кубе! Ну, хорошо, милый, м.б. доживем и до этого, но ведь гораздо важнее, что написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете "на ты". Дорогой ценой заставляют сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда.

Крепко тебя целую, будь здоров!

Твоя Аля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. приезжал к нам. — В 1935 г. Пастернак приезжал в Париж на Конгресс в защиту культуры.
2. "Ребят" — учеников рязанского Художественного училища, где А. С. Эфрон преподавала графику.
3. "Жургаз" — журнально-газетное объединение, возглавляемое М. Е. Кольцовым; там в "Ревю де Моску", работала А. С. Эфрон после возвращения из Франции в 1937 г.
4. Ася — А. И. Цветаева (р. 1894).
5. "шагов моего божества" — из поэмы Пастернака "Девятьсот пятый год".
6. Елизавета Яковлевна — Е. Я. Эфрон, сестра С. Я. Эфрона (1885—1976).
7. Зинаида Митрофановна — З. М. Ширкевич (189?—1977), приятельница Е. Я. Эфрон, с которой она долгие годы жила в Мерзлюковском переулке.
8. "печаль моя" — О. В. Ивинская, в тот момент арестованная.
9. Лиля — Е. Я. Эфрон.
10. Приятельница — Ада Александровна Шкодина (р. 1901).
11. Андрей — А. Б. Трухачев, сын А. И. Цветаевой (р. 1912).
12. Нина — жена А. Б. Трухачева.
13. Журавлев — Д. Н. Журавлев (р. 1900), отец, работавший под режиссурой Е. Я. Эфрон.
14. См. примечание № 3.
15. С. Д. — Гуревич (1903 или 1904—1952).
16. Лаврентий — Берия.
17. Марина Казимировна — М. К. Баранович, печатавшая роман Пастернака "Доктор Живаго".

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ариадна Сергеевна Эфрон, старшая дочь Марины Цветаевой, родилась 18 сентября 1912 года в Москве. Цветаева пророчила ей будущее поэта: ее детские стихи включены особым разделом в сборник "Психея" (1923). В 1922 году Цветаева вместе с дочерью покинула Россию. А. Эфрон училась сначала в русской гимназии в Чехии, а потом, в Париже, кончила училище при Луврском музее, где занималась историей искусств, и училище прикладного искусства. 18-ти лет начала работать в печатных органах, издаваемых советским посольством или обществом "Франция — СССР". Тогда же наметилось ее отчуждение от матери, и в 1937 году А. Эфрон уехала в Советский Союз. В августе 1939 года (т. е. через 2 месяца после возвращения матери и брата) она была арестована и осуждена на 8 лет лагерей. Срок отбыла полностью. В феврале 1949 года — новый арест. Как ранее репрессированная, А. Эфрон была приговорена к пожизненной ссылке в с. Туруханск Красноярского края. Работала там художником в районном доме культуры. В 1955 году — реабилитирована "за отсутствием состава преступления". Последние 20 лет жизни, помимо переводческой деятельности, Ариадна Сергеевна посвятила собиранию архива матери и подготовке к печати ее произведений. В журналах "Литературная Армения" (№ 8, 1967) и "Звезда" (№№ 3, 6, 1973 и 1975) была опубликована часть так и не дописанных Ариадной Сергеевной воспоминаний о матери. В 1979 году они вышли отдельной книгой в Париже (Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний. Изд-во "Лев", Париж). Ниже мы приводим стихотворение, посвященное Ариадне

Эфрон известным экономистом-евразийцем П. Савицким (печатался под псевдонимом П. Востоков), который встретился с ней в мордовских лагерях незадолго до ее первого освобождения.

ПОЖЕЛАНИЕ

А. С. Э.

Потока лет причудливы извивы.
Я испытал удар кипящих волн.
Затронули и Вас житейских бурь порывы:
Я знал Вас девочкой — и узницей нашел!

Марины дочь — слагательницы строгих
И силой внутренней одушевленных строк!
Нет, не унижит Вас печать страстей убогих,
И бедственный поток Вас в бездну не увлек.

Душа жива. И сердце в бедах живо.
Теперь Ваш путь — на волю, к людям, ввысь.
Пусть слово Матери вдохнет в Вас дух и силу,
Чеканом строгим отчеканит мысль.

20 июня 1947 г.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 24 SEPTEMBRE 1982
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 7954

ISBN 2 - 85065 - 012 - 9